Тимофей Шерудило

ВРЕМЯ СУМЕРЕК

После Старого мира

Если вѣрно, что подорвана вѣками подготовленная, самобытно значительная, и глубинно цѣльная культура — это значитъ что предстоитъ періодъ разнобоя, упадка и потемѣнія; что мы стоимъ передъ обрывомъ; новые свѣты нѣкогда возгорятся въ окутывающемъ мракѣ; новые космосы отстроятся въ должный — невѣдомый — часъ. Ихъ подготовятъ поколѣнія, о нихъ не думающія, устремленныя не на ихъ созиданіе, а на разрѣшеніе своихъ очередныхъ задачъ. Очередная задача въ происходящемъ и, вѣроятно, продолжающемся крушеніи — бережное цѣненіе уже достигнутаго при непрекращающемся стремленіи къ еще достижимому. Въ этомъ не только самоуваженіе и любовь къ своей уходящей жизни, признаніе ея глубинной самоцѣнности, въ этомъ не только вѣрность себѣ, — въ этомъ и заботливость о нѣкогда грядущемъ творчествѣ, какъ она единственно возможна до его наступленія. Въ этомъ единственная борьба съ распадомъ, возможная до появленія новыхъ завязей, новой творческой полноты.

Г. Ландау.
«Сумерки Европы», 1923

Оглавление

Предисловие 4
I. Умственный труд второго рода 5
II. Внутренний человек 9
III. Полнота жизни 15
IV. Безошибочность или глубина? 19
V. Истоки религии 22
VI. О художестве 25
VII. Власть новизны 28
VIII. Душа и форма.... 30
IX. Полупросвещение 32
X. Genius loci. Рождение святыни.... 35
XI. Речи Раскольникова.... 38
XII. Время сумерек 43
XIII. Надежда 49
XIV. Смысл прежде пользы.... 52
XV. Вкус к сложности.... 56
XVI. О «новом человеке»....61
XVII. Мысли и мнения 69
XVIII. Вселенская вера и частная истина 73
XIX. «Левое» как отзвук религиозного....81
XX. «Справедливость сейчас» 89
XXI. Неполноценная образованность.... 95
XXII. Власть пошлости 105
XXIII. Безъязычие....110
XXIV. О возвращении в Историю 117
XXV. Бедное и простое....127
XXVI. Личность и слово 138
XXVII. Воспитание нации....148
XXVIII. Надежда, чувство вины, искание чуда....160

XXIX. Царство интеллигенции 167
XXX. Социализм и юность 177
XXXI. Место в истории 184
XXXII. Истины против мнений 196
XXXIII. Какая Россия историческая? 204

Предисловие

Эта книга — о России «*после* христианства и *прежде* новой культуры». Разумеется, культура ушедшей эпохи (годом конца ее можно считать 1918-й) не исчерпывалась христианством, больше того, находилась с ним в состоянии борения и взаимодополнения. Христианство в «старом мире» было не единственным источником ценностей. В значительной степени этот мир основывался на языческой, греко-римской основе — которая к нам в Россию была перенесена Романовыми. XIX век вообще черпал свои ценности из разных, противоречащих один другому источников. Мышление наших дней видит в этом черту слабости, отсутствие единства, залог будущего разрушения. Мы вообще уверены, что если некоторая эпоха закончилась, то это «суд истории», в конечном счете — суд Божий. Однако противоречия — не трещины в здании, не мины под его основанием, а способ существования всякой культуры.

«Старый мир» прошел, но не «устарел». Все вопросы, какие ставили наши прадеды перед концом этого мира и вскоре после него — по-прежнему современны. Нить, которую пряла русская культура до 1920-го в «материковой» и до 1940-го — во «внеземельной» России, не истощилась, но была принудительно оборвана. Эту нить, эту линию наследования можно продолжить. Вопрос в том, какие формы может принять такое продолжение; уместно ли тут желание реставрации; если да — то в какой степени; что живо по-прежнему, а что безвозвратно останется в прошлом.

В знак связи с той частью нашего русского «старого мира», которая не просто пережила, но и *передумала* революцию, т. е. Белой эмиграцией, я не раз приведу в этой книге суждения мало известных современному читателю авторов: Павла Муратова, Александра Салтыкова, кн. Александра Волконского.

Говорится в этой книге и о соблазнах новейшего времени: о социализме «третьего пола», о мнимом консерватизме современной России, ищущем почву в делах революции, то есть воплощенной беспочвенности, о возможной культуре и религиозности будущего, которая едва ли будет страдательной и основанной на надежде... Меньше всего здесь говорится о возвращении к внешним формам, будь то монархия или духовная жизнь, за исключением, пожалуй, одного неразрешенного до сих пор вопроса русской культуры: *вопроса правописания.*

Упрощенная орфография навязана нашему языку силой. Видимость «приятия нового правописания» была создана средствами внелитературного принуждения. Зарубежная Россия печатала по-старому вплоть до 1970 гг.; «новая орфография» победила там только в силу естественной смены поколений — и цензурного давления западноевропейских властей. Цитаты из книг, напечатанных в России до принудительного введения «новой орфографии» или же на свободе, где эта орфография не имела силы, даются по старым правилам. Для своих очерков я, после некоторых колебаний, выбрал новое правописание. Традиционная орфография в наши дни — лучший способ отпугнуть приученного к упрощениям читателя; хотя и смешно мне, памятуя о содержании моих книг, бояться кого-либо «отпугнуть».

Т. Ш.

15 декабря 2021

I. Умственный труд второго рода

Умственный труд вызывается недоумением: в отношении себя, своего места в мире или самого мира; недоумением и беспокойством, если не прямо потерей умственного равновесия. Беспокойство, направленное внутрь, возбуждает интерес ко всему человеческому; направленное наружу — к устройству внешних вещей; и никогда или почти никогда не бывает интереса к тому и другому разом. Больше того. Сами вещи, на которые направляется деятельность ума, устроены как-то по-разному. Что хорошо с одними, то не подходит другим. Одни вещи можно «изучать», а другие только «понимать». Понимание вообще находится в каком-то странном отношении к изучению. Изучать можно, не понимая. Изучение сводит вещи, как они есть, к системам и схемам; зато и ценится нашей эпохой, ибо «научно». Понимание — не научно. Оно цельно, не разнимает предмет наблюдения на части, удобства ради, как это делает изучение, и предполагает тесные отношения понимающего с понимаемым. Понимание сто́ит не только «просиженных штанов», но и душевного труда, то есть (чтобы избежать смутного слова «душа») усилий всей личности, не какой-то одной ее части.

Здесь водораздел между наукой и пониманием, между «точными» и «глубокими» истинами. Глубокие — требуют всего человека, и не просто «производятся» умом, как сапоги сапожником. Мысль, направленная вовнутрь, вырабатывается умом и одновременно сама его вырабатывает. Создание создает создателя. По этому признаку — способности обратного воздействия на создателя или ее отсутствию — можно было бы разделить умственный труд на два вида: труд, оставляющий работника безучастным, и труд, его меняющий.

Первый светел, ему учатся и учат; плоды второго могут быть светлы, но основания — в темноте. Предрасположенность к такому труду, способность находить доступ к темной глубине — скорее врожденные, чем воспитуемые. Здесь все лично и неповторимо, тогда как сила науки в безличности, заменяемости одного деятеля другим.

Умственный труд *первого рода* — подсчет и мера, истины статистики плюс немного воображения там, где речь идет о корнях и истоках, ни из какой статистики невыводимых. Умственный труд *второго рода* — алхимия, превращение тяжести в ясность, преобразование пишущего силой писания.

Оба вида умственного труда начинаются с недоумения. Дальше пути их расходятся. Изучающий идет к наблюдениям и оценке фактов; понимающий эти факты должен прежде всего пережить, наблюдать в себе самом — или, по меньшей мере, быть ими тесно затронут.

Без определенных условий такой вовлеченности нет, причем условий неблагоприятных. *Понимающему* требуется разрыв между умом и его средой; подспудное недовольство существующим; желание прояснить непроясненное; постоянное беспокойство. Из этого нередко выводят, будто мыслитель (поэт, творец в широком смысле) должен быть несчастен, но нет. Беспокойство — внутри, прежде всякого внешнего счастия или несчастия. (Поэтому, кстати, материальное благополучие *само по себе* не гасит духа. Пушкин был, в бытовом смысле, несравненно благополучнее своих крестьян...) А еще — обособленность, своеобразие личности.

«Глубокие» истины могут с полным правом быть названы «личными». На самом деле, *любой* «факт» состоит, по меньшей мере, наполовину из личных оценок и истолкований; умственный труд первого рода, «научный» труд, точно так же работает с неразделимыми «фактопредставлениями» — не с первозданными данностями (о чем, правда, постоянно забывают — откуда забавная вера ученого в то, что он изучает не собственный ум, не представление этого ума о мире, а *мироздание как таковое*). Но в умственном труде второго рода своеобразие личности, ее понимания вещей еще важнее.

Чем меньше обособление личности, чем легче ей находить общий язык с другими — тем меньше ее беспокойство; тем безынтереснее ее писания. Спокойный писатель, спокойный мыслитель — противоречие в определении. Пошлость, поверхность мышления обычно связана с холодностью. Поверхностные суждения — охлажденно-равнодушные. Сказанное со страстью редко бывает совсем плоско и мимо. Чем глубже затронут ум, тем острее взгляд.

Да и с чисто литературной точки зрения, отсутствие напряжения, «разницы потенциалов» между писателем и средой, между писателем и читателем — разрушает литературу. Писатель, вполне подобный читателю — не нужен... Не нужен и писатель, состоящий в наилучших отношениях со своей средой. Человек, вполне и окончательно вписанный в общество, лишенный всех трудностей самоутверждения, общения, доверия, человек несложный во всех отношениях — литературу не создает.

«Обособленная личность», кроме прочего — та, что ценит себя, не говорю: «любит». Что значит: *себя*? В каком смысле: *любит*? Скажу так: без уверенности, что груз воспоминаний, ошибок, слабостей, неистраченной силы и потерянного времени, неотданной любви что-то значат; что это не просто «привходящие обстоятельства»; не что-то такое, что можно заглушить водкой, «работой» или внешними впечатлениями — нет потребности в том труде, который перепахивает

саму личность, переворачивая ее пласты. Познание имеет смысл под условием ценности познаваемого.

При всех отличиях умственного труда первого и второго рода, у них есть общая черта. Ум хочет связать как можно больше вещей взаимонепротиворечивыми связями, неважно, смотрит он в себя или в мир, здесь его *непреодолимое сладострастие*.

Можно ли вообще говорить о сладострастии ума? Не принижает ли это мышления? Не вижу ничего низменного. Говорим же мы о сладострастии чувства, видя силу и глубину впечатлений при неубывающей в них потребности. Сладострастие ума в неутолимой потребности производства и связывания понятий. Чувство и ум — оба ищут тесной вовлеченности, прядут паутину связей между собой и вещами; в дрожи этой паутины — наслаждение.

Побуждения познающего ума внеразумны. Зов познания, как и «зов пола», идет из области бессознательного. Его истоки можно проследить, с некоторым усилием, но противиться ему нельзя. Никто не может сказать: «Ищу познания, потому что так решил!» Не может и остановиться по желанию, как всякий, кем движет страсть. «Познание есть великая и опасная любовь». Любые «цели» в этой области — самооправдание разума; они придуманы задним числом. Яркий пример — поведение ученых-атеистов. Если все низачем — бессмысленно и познание. Однако и посреди мнимо бессмысленного мира сидит ученый. Почему? Потому что язвящее беспокойство, то самое вожделение ума — сильнее, первичнее разумных доводов. Богатство жизни — от способности вожделеть; нет ненасытного алкания — нет полноты бытия; так во всем: в мысли, в чувстве...

При всех общих чертах умственного труда второго и первого рода — их судьба в наши дни различна. Умственный труд второго рода все более уступает первому. Разве же это плохо? Науку и «счастье всего человечества» еще недавно связывали, да и сейчас многие связывают. Наука кормит и греет; «глубокие» истины никого еще не сделали богаче.... Да и творчество, занятое познанием человека, можно объявить просто болезненным признаком, вроде жара при гриппе. Чем личность здоровее (говорит наша заботливая эпоха), тем меньше у нее поводов к самопознанию, исправлению, поискам внутреннего света. В таком случае кошка поэта благополучней, чем сам поэт... Впрочем, не стоит преувеличивать «здоровье» личности, которую выращивает современность. Не столь высоко ее развитие, как ограничены потребности; не так она выросла, как научилась метить пониже...

Назрел, кроме того, вопрос: растет ли сумма счастья вместе с ростом материального благополучия, которому служит, по общему признанию, умственный

труд, направленный на внешние вещи? Ответ известен: временно, до известного предела, пока богатство и спокойствие принимаются как благо, но не последняя цель. Затем Провидению делается безразлично, карать сытое или голодное человечество; богатых, пожалуй, оно бьет больнее... Да и отказ от «глубоких» истин, при всей их практической «неприменимости», не проходит даром. Человека начинают «изучать», подобно какой-нибудь молекуле или туманности, а значит, окончательно перестают *понимать*.

II. Внутренний человек

О прошлом и настоящем распространено два мнения, и оба ложные: будто в прошлом не было зол, известных современности — и будто все зло осталось в прошлом. Последнее убеждение доходит до отождествления зла и истории (болезнь либерального ума). На деле прошлое и настоящее сотканы из одного материала; вопрос в соотношении частей. Другое заблуждение говорит: есть только одно прошлое, которое мы и должны принять. Это неверно. Прошлое, вопреки грамматической видимости, не имеет единственного числа. Прошедших много. Для живущих речь не о «приятии фактов», но о выборе наследства, линии преемственности. Прошлое передает настоящему (а настоящее — будущему) целый пучок таких линий. И кто беспокоится о своем будущем, должен правильно выбрать себе прошлое.

Одно из таких «множественных прошедших» — старый мир, прекративший бытие около 1917 года, а затем (по меньшей мере у нас, в России) искусственно вытравленный из памяти вместе со всеми его чертами, с правописания начиная[1]. Образ его распался, хотя все (или почти все) составляющие остались на месте. Судить о целом мы теперь можем только по отдельным уцелевшим частям, в основном книгам.

Ушедшая эпоха была в первую очередь эпохой книги, хотя (противоречие для современного взгляда) как писательство, так и чтение были доступны только образованному меньшинству. Книге, отношениям книги с человеческой личностью и самой этой личности «старый мир» придавал необыкновенное, не всем теперь понятное значение. Приглядимся к этому недавнему, но без следа ушедшему времени. Вернее, к его отношениям с человеком и книгой. Говорить я буду о «старом мире» вообще, но в первую очередь — на примере России.

Что, прежде всего, отличало «старый мир» от нового? Его обращенность вовнутрь, внимание к внутреннему человеку, выработанное христианством. Впоследствии революция вывернула мир наизнанку, сделав внешнее главным, а внутреннее — второстепенным.

Личность в том мире обладала значительно большей ценностью, чем теперь, причем не служебной (ценностью слуги, исполнителя, подчиненного, работника — будь он хоть академиком), а самостоятельной. В эти дни, к сожалению, самоценность личности, ее развитие — пустой набор слов. «Новый» мир знает

[1] Измененного без достаточных на то оснований и наиболее враждебным по отношению к внешнему образу и внутренней логике языка способом. См. статью одного из участников Орографической комиссии, Н. К. Кульмана, «О русском правописании».

личность «полезную» (государству или иному хозяину), «процветающую» материально (та же полезность, только позолоченная), но при этом ее содержание ни для кого не важно, в первую очередь для нее самой.

Пристальное внимание к внутренней жизни свойственно русской литературе в единственно великой и заслуживающей интереса ее части — созданной до конца старого мира и сразу же после него, в эмиграции. Эта литература насквозь психологична, занимается от начала и до конца личностью, человеком, а не «идеями», «государственными задачами» или развлечением читателя.

«Психологизм» литературы был отражением «психологизма» религии. Христианство учило внимательно относиться к своим душевным состояниям. Как религия, оно настолько же «о человеке», насколько «о Боге». Искусство художника — всегда отражение его религии, то есть основных представлений о мире и своем месте в нем.

А как же, может спросить современный читатель, произведения безрелигиозных творцов? Как я мог их обидеть?! Ведь отрицание всякой тайны, вера в то, что тонкой кожицей видимой глазу поверхности мир и исчерпывается — в наше время привилегия, покушаться на которую опасно. На это скажу, что личная религиозность творца может быть близкой к нулю или отрицательной, как, скажем, у Чехова. Круг ценностей такого писателя все равно определяет атмосфера мира, в котором он вырос. Атмосфера была христианской; «внутренний человек», о котором писал апостол Павел, и его состояние были ее центром.

Сказанное не означает, что условия для творчества в старой России были какими-то необыкновенно благоприятными. Писателю везде трудно, даже в обществе, построенном вокруг Книги (всенародно знаемой Библии) и книгами (в своей просвещенной части) живущем. Но было в положении творца в старом мире одно коренное отличие.

Да, Пушкина, Гоголя, Достоевского освистывали, Данилевского, Леонтьева, Тихомирова не заметили. Мысль не умели ценить, кроме пресловутой «смелой и честной», то есть публицистики, и это неумение пережило революцию. Но была у творца (художника, мыслителя, поэта) могущественная защита: уважение не к умственному труду, а скорее, к внутреннему человеку, его жизни. Фундаментального права поэта, писателя заниматься важнейшими для внутреннего человека вопросами — не отрицали. Если Розанову трудно было напечатать свои «Листья», то из-за их, как казалось издателям, излишней интимности, смешения дневника с философией и публицистикой. По отношению к самим темам «Листьев» — несмотря на всю затронутость старого мира социализмом и либерализмом (верой во внешнее и только внешнее), — была большая терпимость.

Причем эту терпимость, что любопытно, никто не распространял насильственно. «Толерантность», которую насаждают на Руси сегодня, — догмат определенной секты, повод к разделению; в действительном смысле — «терпимость к „нам“ и ненависть к „ним“». В то время как терпимость на Западе — барское отношение к вещам, сумевшее проникнуть в народ, идущее не от какой-то отвлеченной идеи, а от сознания своей силы и уважения, если не прямо одобрительного любопытства, к чужим чудачествам... Впрочем, мы говорили о другом.

Целая совокупность причин выработала в старом мире культуру, связанную, с одной стороны, с книгой, а с другой — с личностью. Я много раз писал о признаках этой культуры и ни разу не попытался дать общего определения. Попробую сделать это теперь.

«Культура» — в том смысле, о котором мы сейчас говорим, — есть совокупность средств сообщения своего внутреннего состояния другим, а также пространство, в котором это общение происходит. Звук и одновременно воздух, в котором раздаются звуки. Иначе говоря, культура — это язык, и к ней применимо правило: сложность выраженной некоторым языком мысли ограничена сложностью (выразительными возможностями) этого языка.

Более того: язык обратно влияет на мышление, из моря невоплощенных в слове помыслов вылавливая, воплощая только те, которые ум может выразить словесно. Форма определяет — не содержание речи, конечно, но пределы сложности, нижний и высший, для выражаемой в этой форме мысли. Речь не выразит мысли более сложной, чем позволяет выбранная форма; но и низведению мысли на первобытный уровень в духе «мама мыла раму, Маша любит кашу» выработанная форма также препятствует. Сложные формы заставляют мысль трудиться, но и дают ей крылья. Из этого, кстати, прямое следствие: разрушая сложные формы выражения мысли, мы губим мысль. [2]

Итак, культура — язык для выражения внутреннего человека, причем формы культуры не просто внешность, они влияют и на содержание мысли и чувства, как язык обратно влияет на мышление. Язык не только называет вещи, но и описывает их взаимоотношения, устанавливает правила, по которым живет им описываемый мир. «Нет действия без деятеля», «нет явления без признака» — эти законы нам сообщает язык. Культура-язык говорит нам о законах нашей при-

[2] Кн. С. Волконский совершенно верно говорил: «У насъ всегда твердили, что содержаніе важнѣе формы, и поэтому всякое воспитаніе формы почиталось ненужной роскошью, барствомъ и даже считалось вреднымъ. <...> Въ этой неспособности оцѣнить воспитательное значеніе *формы*, какъ опредѣляющей собою ясность, а потому и большую цѣнность содержанія, нужно искать причины той легкости, съ какою наши авторитеты научные пошли на измѣненіе правописанія»

роды; вынимает человека из одиночества, помещает в закономерный ряд. Владеющий языком культуры не может видеть в себе и своих обстоятельствах пустую случайность. Только видя смысл в жизни, можно о ней плодотворно писать — и «чтить самого себя», брошенного в обстоятельства этой жизни. По существу, понимание собственной ценности и способность к плодотворному культурному труду нераздельны.

Все это не отменяет вопроса: нужно ли людям это богатство выражения оттенков внутренней жизни, да и сама внутренняя жизнь? С точки зрения «нового мира» — не нужно ни то, ни другое. Ракеты и плотины (избитый образ советского времени) или личное благосостояние (а это уже Запад или эпоха русской «свободы») нужнее. Но как показывает опыт, ракеты, плотины и житейские блага в конце концов оставляют великую пустоту в середине — там, где в старом мире была личность с ее внешней выправкой и внутренним содержанием...

Не всеми эта внутренняя пустота ощущается, а кто ее чувствует — пытается заглушить внешними приключениями. Цели «нового мира» (говоря о массах) — мальчишеские, цели подростка: стремление не к себе, но от себя, желание потеряться во внешних вещах, чтобы ничто не напоминало человеку о его внутренней загадке... Последнее побуждение, конечно, неосознанное. Ум и чувство просто хотят развлечений и тяготятся любой выправкой, любой твердой формой — чтобы их оценить, нужна зрелость.

А существующий мир, рядом со старым, выглядит миром детей. Неслучайна его «левизна» во всем; его уверенность в том, что всякие «реформы» благо, а «новое» лучше, чем «старое»; его погоня за новизной вместо добротности. Тяга вовне, прочь от себя, и утрата связи с прошлым — явления одного порядка. И наоборот, есть тонкая связь обращенности вовнутрь и укорененности в прошлом, «консерватизма». Самопознание и прошлое вообще тесно связаны. Обобщения, выводы, самоотождествление и самооценка связаны исключительно с событиями прошедшего. Прошлое — то, что придает смысл настоящему.

И мысль всегда «консервативна» — или ее нет. Где сосредоточенность на внутреннем человеке, где культура, там и внимание к прошлому как вечной почве для всего нового. «Правые» знают человека; «левые» знают идею, целый набор идей. Собственно, есть непрерывный ряд понятий: *культура — знание человека — неспособность обольщаться «идеями»*. По меньшей мере, так было прежде...

Сказав это, надо сказать и то, что «старый мир» был миром многосоставным. Все составляющие «нового мира» в нем уже присутствовали, в том числе вера в

исключительно внешнюю деятельность, интерес только к тому, что можно «изучать», а не «понимать» (социализм и наука). Основа его богатства — подвижное равновесие отрицающих друг друга начал. Ведь все великое (в области государственности, личности, творчества) основано на неразрешимых внутренних противоречиях. Отсюда бесплодность утопий. Утопическая мысль хочет уничтожения противоречий, сглаживания углов, выведения целого мира из одного корня, но одноосно́вное мировоззрение неплодотворно. Сложный, высокоорганизованный ум вырабатывается только сотрудничеством и борьбой нескольких систем ценностей, чьи владения разграничены, так что до открытого столкновения дело доходит редко...

Борьба этих начал разъедала старый мир изнутри. Средневековье и социализм были двумя зорями на его небе, утренней и вечерней, и человек мог созерцать их одновременно без вреда для себя; наука казалась (но уже не была) чисто служебной силой без притязаний на место законодательницы мыслей и нравственности... Но соотношение частей в атмосфере изменилось, неустойчивое единство распалось.

Культура в понимании, высказанном выше, ушла как живая и действующая сила. В мире, созданном революцией, ее уход был мгновенным — целые поколения живых и одаренных людей были принуждены к молчанию или изгнаны. Потом революция примирилась с давними творцами культуры, от Пушкина до Достоевского, не снимая запрета с новейших — и по-прежнему подавляя всякое выражение внутреннего человека, все культурные формы, более сложные, чем стихи к государственным праздникам...

Надо честно признать: на революционные годы в России, с точки зрения национальной культуры — не смешивать с грамотностью, техникой и наукой, они с культурой в высказанном смысле связаны очень слабо, — можно смотреть как на потерянные. Потерянные, однако, не значит «напрасные». В конечном счете ничто не напрасно, все служит самопознанию — если есть желание признавать ошибки и учиться. Если же пересилит желание гордиться временами, о которых следовало бы задуматься — не будет ни опыта, ни самопознания, только дурное продолжение отнюдь не блестящих лет...

Оглядимся вокруг. С одной стороны наука, которой человек не важен и неинтересен; с другой массы, которым как наука, так и (тем более) культура в сказанном смысле чужды. Идеал просвещения, то есть постепенного просветления и подъема масс до уровня высшего слоя, оставлен. Что будет? Вернутся ли сложные формы языка культуры? Не знаю. Знаю только, что самопонимание или хотя бы внимание к собственной личности, путь внутреннего роста и усложнения

— это единственное, что можно человеку предложить, не боясь, что его постигнут пресыщение и скука. Не каждому это нужно. Но силами тонкого слоя тех, кому это нужно, движется развитие народа. Вернее, двигалось. И возможно, что еще будет.

III. Полнота жизни

Все, что мы делаем — делаем в поисках внутренней полноты, она же «счастье». Вопрос: «как быть счастливым?» почти равносилен другому вопросу: «как жить так, чтобы не думать?» От мысли — беспокойство, страхи, сожаления. «Мы сделаем их жизнь беспрерывной игрой» — это обещание Платона жителям государства, управляемого философами, означает: «мы освободим их от потребности думать». Покой, лень — естественное состояние ума и чувства... Но не менее естественно (пусть и не для всех живущих) счастье движения, мысли.

Выходит, что счастье полного растворения в солнечном луче, полоске света, ползущей по стене, дуновении ветра, запахе далекого дыма — одна крайняя точка. Счастье зерна в жерновах, которому и страшно, и чудно, потому что и в жерновах не теряет своей особности и мыслит — другая. Первое слаще; второе напитано чувством личного бессмертия. Двум видам счастья соответствуют и два вида религии; религия ведь возникает до мысли о Боге — при мысли о себе. Не «Бог есть», а «аз есмь» в ее основе. Чудо моего бытия, отношения мира с моим существом требуют объяснений. Если есть я — есть и кто-то на том конце телефонного провода, ведь меня слышат?..

В нашей части света внутреннюю полноту чаще ищут на пути подвижности, предприимчивости, особности, чем на пути растворения в мире. Нам лучше знакомы предшествующие всякой мысли избыток сил сверх необходимого; иррациональное беспокойство; которые, если есть выразительные средства, можно направить к высшим (творческим) целям. Если их нет — все может уйти в поиски любви, приключений, если не в пристрастие к вину...

Человеку даются даже не способности прежде всего, а этот огонек слепого беспокойства, который можно разжигать по-разному, плодотворней всего — в игре высших способностей. Искра бессознательного беспокойства воспламеняет эти способности, если найдёт; мир видит проявления дара, но не догадывается о причине его пробуждения.

А у истоков того, что зовется «даром» — чистая, неоформленная сила; избыток впечатлений, излишняя живость отклика. Свойства, не делающие человека «приятным во всех отношениях». Хотя не советовал бы от несносного характера — обратно заключать к одаренности. Несносный характер может быть признаком скрытых непримененных сил, а может и не быть.

Неприменённые силы, беспокойство, несносный характер, переживания пола, вино — это еще не «гениальность», это то, из чего может сделаться гениальность[3] при наличии средств выражения и тем. Гениальность — не внутреннее свойство творца. Она, как и любовь, находится между личностью и чем-то внешним, в рассматриваемом случае — в месте встречи личности и культуры. Там атмосфера из инертной становится горючей, там зажигается пламя.

То же самое относится к мнимой связи дара и помешательства. Связаны не дар и помешательство, одно вообще не является причиной другого. Просто искра, зажигающая дар, может зажечь и безумие. Сами же по себе дар и помешательство противоположны, т. к. дар — высшая ступень порядка.

Воспитание налагает на эту силу сеть ограничений и правил. Из неразделенного, смутного делает тонко устроенное, сложное, самосознающее. Был бы только избыток способностей сверх необходимого. Этот отличающий человека от зверя (в котором нет ничего сверх потребности) избыток присутствует в нас всегда, вопрос в том, чтобы его зажечь и плодотворно ограничить, ввести человека в состояние противоречия с самим собой, вызвать его из природы — к духу.

Отсюда неожиданный вывод: все попытки дать личности покой, угашение внутренних противоречий, «спорт» и прочие развлечения, предлагаемые для «счастья» — способ заглушить человеческое (тот самый избыток способностей) в человеке. Там, где выросли развлечения, не вырастет высшая личность. Что это за личность? Та, что сознает себя; откликается на внешнее сразу на нескольких уровнях, сразу в нескольких регистрах, ощущает оттенки смыслов, а не простейшие раздражители.

Другой вопрос: нужно ли это высшее развитие? Может ли, скажем, высокоразвитый человек быть подлецом? Нет сомнения, может. Хотя в списках особо опасных подлецов XX века высокоразвитых личностей не так много; разве что в списке жертв. Сложной личности доступен широкий круг положительных наслаждений, ей не нужны первобытные удовольствия, даваемые разрушением и травлей ближнего.

Кстати заметить: христианская вера и культурное богатство — явления не одного ряда. Они жили рядом, но ни причиной, ни следствием одно другому не были. С точки зрения Церкви, радости, наслаждения (положительного и отрицательного рода), полнота жизни — все под подозрением. Смешивая христианство и культуру, в особенности культуру в любимых нами формах, мы допускаем

[3] Т. е. уверенное, осознанное владение неповторимым внутренним космосом.

ошибку. К. С. Льюис — прекрасный собеседник, но в «Нарнии» и иных вещах показывает не «христианские ценности», а национальные, британские. Ум, юмор, милость к слабым — это не вполне от Евангелия. Это ценности богатого и сложного мира, который долгое время освещали лучи Евангелия — и в котором оно не было единственным источником света.

Хотя безусловно, в культуре старого мира христианство давало темы. Без него не было бы Ницше, который с христианством не столько боролся, сколько им питался; не было бы многих иных. Но питательно было именно историческое христианство, помещенное в мир, как одна из его сил, и притом не единственная. Если его вычитать из книжек — благочестие (в известном кругу) будет, обряд (в известном кругу) будет, но Пушкина или Ницше, затронутых христианством, но не в его ограде выросших — не будет.

Все сложные культурные формы получают свое значение по совокупности причин и на протяжении времени. Все они историчны и неповторимы. Восстановление неких сложных форм (скажем, христианской монархии) не восстановит следствий, какие они имели прежде. В конечном счете, мы восстановим только слово, с другим совершенно значением. — Не хочу этим сказать, что «реставрация» нежелательна и невозможна. Напротив. Желательна и, может быть, еще возможна, хотя бы отчасти. Без нее не будет культуры — только техника. Но это будет реставрация основ, не сложных форм прежней жизни.

Мы ушли в сторону. Я говорил о том, что смешивать христианство и культуру — ошибка. Все порывы и достижения в мире, в том числе в области культуры — от способности безгранично желать, тогда как христианство разжигает огонь нежелания. Протестантизм — плохой пример, т. к. предельно далек от Евангелия и граничит (местами выходя за границу) с безбожием. Католический активизм также внехристианского (римского) происхождения. Евангелие громче всего велит *не делать* — как и сократовский демон, кстати. Чтобы обосновать делание, христианскому миру приходится обращаться к внешним источникам: римским добродетелям, учению о силе и успехе как земных тенях будущего спасения, к рыцарству... Западный мир потому был был цветущ и богат, что приятным для глаза и плодотворным образом уклонялся от христианских основ. (Потому и прививка западности в России, сделанная Петром, оказалась такой могучей.) Возвращение этих и только этих основ старого мира, отдельно от прочих — им противоречащих, а иногда и прямо с ними несогласных — само по себе неплодотворно.

Девиз культуры: «Наложите на личность сеть сложных правил и создайте в ней разделение; дайте поприще, которое можно пройти». Основа любого порядка — способность желать, а не воздерживаться от желаний. Дайте личности достаточно целей и соблазнов, чтобы в погоне за первыми и в алкании вторых (неотделимом от борьбы с ними) она развила достаточные усилия. Не предлагайте ей монастырь без мысли о жизни вне его стен. Не предлагайте и погоню за внешним, не уравновешенную тягой к внутреннему. Дайте ей трудноразделимое единство, поле для приложения сил, и пусть трудится, ходя по всем путям, кроме пути меньшего сопротивления.

И путь ее не останется без награды: насыщенности и богатства жизни, внутренней полноты.

IV. Безошибочность или глубина?

Поскольку речь идет об утилитарной, повседневной науке — очевидно правило: такая наука легко обходится без умственного синтеза; без сложных суждений; напротив, находит силу в предельном упрощении предмета и в поиске простейшего и по возможности всеохватного набора правил, поведение этого предмета объясняющих. Научные «истины» — ряд последовательно опровергаемых ложных утверждений; наименее опровержимые в текущую минуту составляют «научную картину мира». Цель науки, следовательно — не глубина, а безошибочность суждений. А безошибочные по возможности суждения не могут основываться на обобщениях.

Выбор безошибочности вместо глубины оказался исключительно удачен. Как давно сказано: «сила науки в том, что она задает природе только те вопросы, на которые природа может ответить». Однако все вещи, о которых возможны «безошибочные» суждения, оказались маловажными с точки зрения коренных вопросов жизни. Все важнейшее для человеческой жизни питается (насколько еще живо) из вненаучных корней, в то время как вещи, о которых возможны точные, желательно количественные суждения — самые для нее маловажные. Подсчитав, например, сколько бумаги в романе «Война и мир», изданном по классической орографии, занимают твердые знаки, мы не приблизимся к пониманию смысла романа или значения конечного ера в русской письменности. Мы просто получим еще одно безошибочное суждение.

Здесь точка разрыва философии (мысли вообще) и науки: вопрос о смысле вещей. Суждения о смысле не могут быть общеобязательными. Общеобязательно может быть только утверждение об *отсутствии смысла*. С уходом смысла закончилось и самопознание («познавать» с точки зрения мысли — значит «искать смысл»).

Надо заметить и повторить: ученый (что бы он о себе ни говорил) не высшее существо; не победитель пережитков; не слуга мысли. Ученый есть человек, отказавшийся от самопознания ради безошибочных, то есть дающих власть над материей, суждений.

Только маловажные вопросы позволяют получить исчерпывающе точные ответы. Чем выше сложность познаваемого, тем эти ответы менее однозначны. Познание человека всегда будет неуверенным, зыбким; основанном на смутном понимании трудновыразимых законов — иначе говоря, никогда не будет «научным».

Наука и человеческое расходятся объективно, не по злой воле ученых; благими намерениями тут ничего не исправить. Наука не может, по своему существу, быть силой, а тем более, единственной силой, определяющей развитие личности и общества; ее область применения — вопросы техники и гигиены, важные, но не важнейшие для тех, кто живет и рано или поздно собирается умереть.

Как говорит А. Ф. Лосев: историк должен «проследить каждый мифологический образ, начиная с его зародышевого состояния, переходя к его развитой и цветущей форме и кончая его разложением, внутренним опустошением и гибелью». Что верно для мифа, верно и для науки. Наука возникает в истории, подчиняется историческим законам и страдает, как все исторические явления, неполнотой и ограниченностью, находя себе дополнение и поправку в других явлениях. «Ненаучное» вненаучно, но не обязательно ложно.

Нежелание признавать что-либо за своими пределами, кстати — общее для умственных построений и их творцов. В своей исключительной воле к победе и жизни они подобны создателям. Все мощные умственные построения обладают жаждой бессмертия, унаследованной от творцов (даже если эти творцы не верят в вечную жизнь); защищаются, подобно живым существам; и видят себя вечными. Каждое человеческое построение ограниченно каждое желает исключительного торжества...

Признавая заслуги науки, признаем, что область ее применимости ограниченна.

Все человеческое смутно, гадательно. Для выражения истин о человеке нужны богатые, нагруженные оттенками смыслов, насыщенные внутренними связями средства выражения; наука может выражать свои истины избитым шаблонным языком, что она в современном мире и делает. Может, но не должна: ученый старого мира бывал хорошим стилистом, но отточенный стиль, как и культуру мысли, он получал из вненаучных источников. (Еще одна черта науки и мира, на который она наложила свой отпечаток: для простых мыслей нужны простые формы, а безошибочные суждения — всегда простые. Это не зависит от воли ученого, такова природа вещей, с которыми он имеет дело. Язык заранее заготовленных штампов, слов-калек и калек, взятых неразборчиво из других языков — прост в употреблении, но губит обобщающую способность, т. к. обобщениям простота претит[4]).

[4] Не случайно в 1918, под флагом «научности», в России было введено правописание, наиболее подходящее для того, кто не любит задумываться над значением письменного слова, хочет владения речью без понимания ее смысла. Внутренно-связная орография предъявляет умственные требования,

Безошибочные суждения, по существу своему, суть однозначные ответы на не имеющие двух толкований вопросы. В этом смысл научного метода. В этом и его расхождение с (называйте, как хотите) областью культуры, духа. Все человеческое — чем выше, тем дальше, — подразумевает неоднозначность ответов, избыток смыслов.

С избытком смыслов научный метод не знает, что делать; его силе здесь нет применения. «Научное» толкование Достоевского не стоит бумаги, которая на него потрачена. В области духа науке остается только описательство: «Достоевский и социализм», «Достоевский и женский вопрос», «Достоевский и сексуальность». Темы бесчисленны и всегда не имеют отношения к Достоевскому-писателю и человеку. Суть человеческого в многозначности, многосвязности, глубине и свободе проявлений, от высших до низших. Искусство получения однозначных ответов на недвусмысленные вопросы изучению человека не помогает.

которые выглядят лишними с точки зрения чисто технической. Зачем задумываться над мыслью, строить в уме грамматически-правильное предложение прежде, чем выразить его на бумаге? А «классическое» правописание этого требует. Новый орфографический принцип мог быть полезен для скорописи, но письменное слово — погубил.

V. Истоки религии

Что такое «личность»? Пол? Ум? Чувства? По обычному представлению — разум. Борьбу с разумом понимают, как борьбу с собой. Но вернее было бы сказать, что личность — не пол, не чувство, не ум, но внутренний порядок, для которого все способности — только слуги, орудия, строительный материал. Всем перечисленным он пользуется на свое усмотрение; владеет, а не одержим. Этот порядок человеку дороже всего остального в нем, его он хранит и защищает от покушений. Одна из опор этого внутреннего порядка — религия, но не в обычном смысле этого слова.

Обычно под религией понимают добровольное подчинение личности чему-то внешнему («иго Мое благо и бремя Мое легко»). Европеец не умеет отделить религию от идеи личного Бога, от Церкви. Однако религия не имеет непосредственной связи с верой в личного Бога и чудесное; желая понять ее, начинать надо не с церковного христианства.

Что такое *религия* в самом общем смысле? — Переживание собственной ценности, укорененности в мире. Ее противоположность — чувство отрыва и уединения, собственной случайности.

У истоков религии два переживания, внутренно не связанные. Одно личное, а второе, так сказать, по доверенности, зато оно и доступнее. Первое религиозное чувство — ощущение собственной вечности; чувство внутренней полноты, граничащее с уверенностью в своем бессмертии[5]. Второе — чувство причастности к чему-то большему, чем личность; к некоей внешней по отношению к личности правде; переживание первичной Ценности, от которой заимствуют свет все остальные.

Эта первичная истина не обязана быть «потусторонней». Ее находят и по «эту» сторону. Ум верит, что может приобщиться к этой истине, должен хранить ее и нести «до края земли»; верит, что эта истина дает спасение. Формы этого спасения могут различаться: от жизни вечной до интеллектуального самоуважения или отменного здоровья до конца жизни.

На деле, полоса религиозных переживаний широка: от полноты внутреннего бытия — до желания приобщиться к этому бытию; до страха так и остаться ненужным и уединенным... Здесь связь религии и культуры. Культура — всегда

[5] «Не там и не тогда, — говорит об этом чувстве Набоков, — не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи — на мачте, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно».

укорененность, обладание почвой; религия — самый глубокий корень. Обделенность полнотой жизни, страх оказаться случайным, а не необходимым — может привести как к яростному атеизму, так и к вере в обряд, смотря что возобладает. Обрядоверы и атеисты выпекаются из одного теста. При любом исходе, чувство выпадения из общего замысла о мире, оставленности, и в то же время негасимое желание приобщиться и служить истине — заставляют человека всякое здание перестраивать в храм.

(Кстати замечу: религия, самостояние личности, на ее путях достигаемое — внутренние потребности человека, но это не делает их достоянием чистой психологии. Любовь, скажем — тоже глубинная человеческая потребность, но утоляемая в общении с живой, независимой личностью.)

Даже материализм не исключает религиозных переживаний своего рода (связанных не с внутренней полнотой, но с приобщением к некоей внешней истине). «И въ наукѣ, и въ революціи есть какой-то „суррогатъ религіи“, — читаем у Розанова. — Есть прозелитизмъ, есть фанатизмъ. Уже есть бездна мучениковъ и героевъ... Видно, что каждая изъ этихъ областей, или, точнѣе, каждый изъ этихъ методовъ (ибо и религія, и наука суть болѣе методы, чѣмъ области) можетъ совершенно насытить и удовлетворить человѣка, взять всю его жизнь, всю его душу. И въ равной мѣрѣ одушевить и двинуть».

Розанов прав. Причастность к правде или хотя бы множеству, обладающему правдой — острая и сильная человеческая потребность, особенно если это множество гонимое или считающее себя гонимым. Изгнанные за правду блаженны, даже если их никто не гонит. Такова психология русской интеллигенции — вплоть до нынешнего последнего ее остатка. Чем святее множество, к которому приобщилась личность, тем меньше ее потребность в рассуждении.

Абсолютные ценности нуждаются в абсолютном доверии. Здесь корень научного и политического догматизма (по внешности внерелигиозного, тем более, что самые ярые догматики в науке или политике, как правило — враги религии во всех ее видах). Яростная, кипящая ненависть направляется на «неправильно мыслящих», т. к. они угрожают основам личной самооценки. Так апостолы «толерантности» нападают на инакомыслящих — назло своей вере, но в согласии с сердцем.

Впрочем, дать личности основу, внутренний порядок — способны обе разновидности религиозного чувства. Где нет ни той, ни другой — там слабость, беспочвенность, неукорененность в бытии, отчаяние и чувство своей случайности.

Однако плоды их разные. Полученное «по доверию» и теряется вместе с доверием. Тот внутренний порядок, который основан на незаемных, в самом человеке найденных ценностях — богаче, устойчивее, плодотворней.

VI. О художестве

Дело писателя (поэта, художника) кажется в наши дни предельно простым и понятным. Художественное творчество объясняют при помощи нескольких мифов — простых и простейших объяснений довольно сложных вещей. Несложные объяснения, как всегда бывает, пользуются успехом, но не помогают понять суть художества, а только затемняют ее.

Самый распространенный миф: будто художник в своих трудах «выражает себя». Это «самовыражение» — общее место в представлениях о художестве. Чем затейливее его ароматы, чем причудливее формы — тем оно совершеннее. О содержании источника пряных запахов неприлично и спрашивать... Всякое объективное значение искусства таким пониманием уничтожается.

Еще излюбленное мнение: будто художество тем выше, чем больше запретов, нравственных или эстетических, оно нарушает; больше того — будто чем дальше «самовыражающаяся личность» от нормы, тем ближе она к гениальности.

Это взгляд внешний и поверхностный. В действительности мера художественного совершенства не здесь. Художество может быть ярко, остро, приманчиво, увлекательно, но это все его внешние признаки. Внутренний корень художества — понимание. Определенное понимание человека и мира отливается в определенные формы, но для творца эти формы второстепенны, публика же видит только их и укрепляется в заблуждении: «художество есть совокупность внешних приемов», и чем пестрее и разнообразнее эти приемы, тем лучше для творчества.

Все не так. Не привлечение публики, а истина и глубина (на деле, сложное, до неразделимости цельное понятие) — цель искусства. Где верят в истину, там не радуются «многообразию мнений». Смешно представить «толерантную физику»: ученые рукоплещут «интеллектуальному разнообразию». Толерантная литература, в которой истину принесли в жертву «многообразию», тоже нелепа.

Художество отлично от науки, но не во всем. Как и наука, оно упорядоченно, верит в наличие порядка в своем предмете (здесь: человеке), выбирает те средства, какие помогают этот порядок найти, а не затемнить. Цели художества объективны, т. е. вне художника.

С верой в то, что художник занят «самовыражением», связано другое заблуждение: будто талант «межнационален». Этот «межнациональный», т. е. беспочвенный, талант сидит, будто бы, в пустоте и сам из себя порождает художественный космос... Картина величественная, но глупая; дарований космической величины не бывает; гениальность, когда она есть, благодарно питается почвой

своей национальной культуры, воздухом определенной эпохи в народной жизни (не обязательно теперешней).

Уничтожение культурной почвы (Россия им обязана революции; Запад — мировым войнам и последовательной демократизации[6]) означает упадок личной годности, т. к. не в человеческих силах ходить по воздуху. И напротив: где почва хоть насколько-то цела, есть надежда на рост личной годности, даже в неблагоприятной среде. (Под личной годностью понимаю здесь ответственность, способность суждения, внутреннюю сложность.)

Предвижу вопрос: зачем личности еще какая-то почва, не довольно ли воспитания, некоей «образованности», здравого смысла? К сожалению, нет. Почва есть, кроме прочего, запас понимания, склад накопленных сложных форм поведения и мысли, потому необходимый, что у отдельной личности нет ни времени, ни кругозора, ни опыта для того, чтобы к этому пониманию, этим формам придти самостоятельно. Почва нужна, чтобы не остаться в вечном детстве, постигая давно постигнутое; она сокращает время, нужное для приобретения опыта, потому что складывается трудом поколений.

О другом мифе — будто достоинства произведения связаны с числом им нарушенных запретов — надо сказать: это подростковая болезнь вкуса. Корни ее глубоко: еще прежняя интеллигенция поклонялась «смелости и честности»; советская эпоха довершила дело. Глубокое, серьезное, тонкое было изгнано из культуры. Почти все темы прежнего художества стали запретными. В старом мире как искусство, так и философия занимались отношениями личности с миром — от любовных переживаний до тайн познания. «Партия» оставила творцу разработку единственной темы: служения государству. Человеческое, личное, частное было терпимо только в виде примечания на полях.

Из запретности глубокого — по понятной, но непростительной ошибке — был сделан противоестественный вывод о глубине запретного. Не без участия революции (пусть и отрицательного) создалось понимание искусства как области извращений.

На самом же деле в области художества, как и в «точных» видах познания, ум располагают к себе глубокие и верные суждения. И в искусстве он ищет истин — не форм, не чувств, не развлечения как таковых. Не то произведение,

---

[6] Влияние революции было демократическое, хоть революционеры и правили самовластно. Демократия враждебна сложности мыслей, отношений, внутренней жизни — как недоступной среднему человеку. Последствия демократизации разрушительны: целый слой понятий, умственных привычек, сложных форм мысли и слова уходит у личности из-под ног. Внутренняя жизнь упрощается до первобытных форм.... а жертвы этого опрощения уверены, что они во всех отношениях выше своих «темных» предков.

которое только развлечет, а то, которое научит и заставит мыслить, ценит хоть сколько-то пробужденный ум. Повинюсь: сказав «истин», я выбрал неверное слово. Разум в художестве ищет пищу: как для мысли, так и для воображения. Питательность, богатство, глубина — таинственно связаны с истиной, помимо воли автора и читателя.

Художество субъективно по своему происхождению, достигает ума и сердца также субъективно, по личной склонности, но объективно по своему содержанию: тем или иным истинам о человеке и жизни. Без желания учить и учиться, делиться и усваивать нет и художества. Художник не «творит» из ничего. Не «выражает» какие-то внутренние «тайности». Он *видит* и рассказывает об увиденном. Читатель, зритель — не просто с разинутым ртом созерцает каскад форм и красок, но соучаствует в творении (или убивает его своим равнодушием, неспособностью впустить в себя).

Распространенные же мифы о художестве удобны тем, что освобождают публику от внутреннего труда, да и художника из ответственного труженика превращают в смотрителя кунсткамеры. Простота — обычная черта ложных объяснений.

VII. Власть новизны

Жизнь сама по себе не событие, а только возможность событий. Сладость ее в переходе от возможного к действительному, иногда — в касании их границы. Второе, пожалуй, самое сладкое. Детство — время сплошного хождения по этой грани. Во взрослой жизни ощутить дуновение возможности позволяет искусство, но еще больше — всякая новизна, движение, дух перемены.

Сердцу важен именно переход от возможности к действительности. Сами по себе «достижения» пусты, они всегда в прошлом, тогда как сердце живет будущим, прошлое его не питает. (Не смешивать с «прошлым» как основой и почвой культуры — здесь твердыня прошлого охраняет настоящее для будущего.) Власть новизны, возможно, сильнее даже власти пола, а уж соединение этих сил почти непобедимо.

Впрочем, говоря о власти новизны над душой, не стоит забывать, что психолог не имеет права говорить о человеке вообще, но только об известном ему — чаще всего о самом себе. Единой «истины о человеке», возможно, и нет; есть ряд соперничающих истин, из которых ум выбирает свою — не по произволу, а по внутреннему сродству. Мы с трудом можем судить о «человеке», доступнее для понимания отдельные человеческие типы. Частное нередко принимается за целое, так и знание определенного типа иногда выдается за знание человека. Даже больше: целые эпохи представление о человеке строят из познания одного типа, пренебрегая остальными. Эпоха создается людьми определенного склада и их создает. Склад этот, сколько можно судить, врожденный, и благо тому, кто родился «вовремя». С этой оговоркой можно продолжить.

Новизна подобна свободе: отсутствие убивает, избыток душит. Ум сохнет без нового и тонет в его избытке. Новизну обещает революция, и народы идут за ней, хотя это «новое» всегда оказывается низшего качества в сравнении со «старым»... Новизне, в некотором роде, противостоит культура — как сила внутренней дисциплины, отбора, качественных оценок, — хотя и не препятствует входу нового в мир.

Почему *новое* так соблазнительно? Оно распускает старые связи, упраздняет вопросы, не разрешая их, позволяет забыться, возвращает на грань возможного и действительного — в общем, возвращает к детскому состоянию свободы, легкости и необусловленности.

Мы говорим «новизна», а имеем в виду движение; одно — кратчайший путь к другому. Личность бодрая, собранная, восприимчивая не может насытиться собственным содержанием, ей нужны движение, смена впечатлений, без них — внутренняя темнота и тоска. Подавленность — чувство ума, вынужденного довольствоваться самим собой.

Движение утоляет некий голод, но не само по себе. Есть и пустое, непитательное движение: «спорт», смысл которого — в освобождении ума от мыслей. «Мышечная радость» не питает личность; питает — радость ума от увеличения потока впечатлений. «Спорт» и развитие личности вообще как-то противоположны друг другу. Или мы получаем личность думающую и чувствующую, или «спортивную».

При всем сказанном, не всякая смена впечатлений бодрит. Новизна «войн и военных слухов», новизна болезни — не питательны; питает душу только переживание нового, свободного от страдания и страха потерь...

VIII. Душа и форма

Выше мы говорили, что человеку при рождении даются не «способности» к чему-то определенному, но нерасчлененные силы, некое иррациональное беспокойство. Их проявление мы и называем «даром». Чтобы «дар» состоялся, нужна встреча этого беспокойства с внешней формой. В форме, однако, нуждается не только талант, но и сама душа. Воспитание (в широком смысле — культура) выводит ее из состояния неразделенного единства, предшествующего мысли, чувству и слову.

Человек — не «чистая доска», на которой пишется все, что угодно воспитующему. Душа приходит в мир не пустой. Она не форма, ждущая себе содержания, но содержание в поисках своей формы. Изначально ее содержание не имеет средств выражения и известно только себе самому. Не все помнят свое раннее детство. Фрейд вообще говорит о «забвении детства», как общем правиле. Эта погрешность памяти позволяет в личности ребенка видеть пустую коробку, ждущую наполнения. На самом деле все содержание сложно-расчлененной «взрослой» внутренней жизни уже есть у ребенка — в виде неразделенном, слитном, скорее как вопрос, чем как ответ.

Если «познание — припоминание», то развитие — постепенное узнавание себя, не в одном каком-то образе, но во множестве разрозненных отражений. Отражения эти даются культурой. Душа подходит к культуре, как к зеркалу, находя в ней облагороженный и усложненный образ себя. Соединение души и культуры — личность.

При всем сказанном — форма не самодостаточна. Личность — дитя формы, но в любом случае питается силами души. «Форма» не упраздняет «душу», а направляет ее силы узкими путями.

Чувство и мысль в первую очередь воспитываются книгами. Среди наших воспитателей больше отсутствующих, чем близких. (Я, кстати, не зря упомянул о «чувстве». Чувствовать тоже надо учиться. За каждым чувством стоит переживание его смысла. Развитую личность отличает внимание к смыслу во всем, и в ее чувствах также.)

Одна из радостей, доставляемых чтением — узнавать о себе, своих мыслях и побуждениях в побочном ответвлении мысли, в мелком замечании. Самые «питательные» для ума авторы — у кого таких боковых мыслей много. Беллетристика не философия; но все значительные произведения не без мудрости (если понимать под мудростью истины о человеке и жизни). Проза Набокова, почти

лишенная мыслей («вкусная, но бессодержательная», по выражению протопресвитера Шмемана) — скорее исключение в русской литературе.

При всем подавляюще важном, исключительном влиянии культуры надо подчеркнуть: форма не принудительна; она не подчиняет, а *влюбляет* в себя душу, и влюбление это происходит по внутреннему сродству. В культурных формах мы находим себя самих, только в очищенном, проясненном, сложно-разделенном виде.

Наш внутренний город строится внешней культурой. Но что останется от моего внутреннего мира, если отнять воспоминания, влияния, формы? Останется то, что находится под его поверхностью, к чему обращаются искусство и красота, из чего исходит вдохновение. Первоначальное детское восприятие вещей; ощущения бесстрашного и любопытного комочка света, которому предстоит теплая, не грозящая, но таинственно-мирная темнота; ядро личности, живущее еще до разделения слова и чувства; одним словом — *душа*.

IX. Полупросвещение

В прежние времена просвещение уединяло человека, возводя его на некоторую высоту. Сегодня можно иметь все печати и свидетельства просвещенности и при этом быть частью толпы, пусть и *ученой* толпы. В чем дело? Мысль потеряла силу, или общий уровень так высок, что подняться выше него — невозможно? Все может быть, конечно. Возможно и то, что просвещение сменилось чем-то качественно иным; чем-то, что можно назвать, вслед за Пушкиным, «полупросвещением» или (чтобы никого не обидеть) «образованностью».

«Образованность» дается под условием службы, производства известного количества «умственных работ» в урочное время, а когда же ум трудился по расписанию? Важные мысли производятся глубокой внутренней потребностью, не желанием одобрения или служебной надобностью. Культура не фабрика, умственный труд — не производство.

Если просвещение — цельно, воспитывает личность, то образованность заполняет ум фактами, но не учит с ними обращаться. Образованность сообщает полезные знания; просвещение учит одинокой, безвыгодной мысли, переживанию внутреннего смысла предмета. Хуже того. Знание принимается «образованными» религиозно, цельно и без сомнений, как новая истина, не как нечто такое, что можно и отвергнуть, если умственная совесть не позволит.

Прежде мысль была радостью и привилегией меньшинства. Теперь мысль, бывшая некогда штучным товаром, выделывается в промышленных масштабах. Размахом производства мы обязаны готовым шаблонам. Больше того: «мысль» в разрешенном, одобренном сегодня виде имеет право только на несколько внешних форм, предельно безличных. Всякий намек на личность изгоняется как признак «необъективности». Объективно же то, что с умом и совестью пишущего никак не связано — по возможности, разбор количественных зависимостей, своего рода магия чисел.

Продолжая сравнение образованности и просвещения, надо сказать: просвещение неспешно в оценках; образованность торопится заявить несогласие. Она имеет мнение обо всем, не думав ни о чем. Большей частью эти «мнения» сводятся к отвержению всего, что нарушает умственный уют.

Образованный скользит по поверхности вещей, и это скольжение не признак глупости. Он умен — в том смысле, в каком умны звери, т. е. умеет находить кратчайший путь. В области мысли это значит — вытаскивать из ящика готовые карточки; пользоваться усвоенными мнениями, а не вырабатывать их. Образованность любит говорить: «всем известно, что...» За ссылкой на «всех» стоит

умственная лень, нежелание проверить общие места своей мыслью. А кроме лени — боязнь оказаться одному. Мы начали разговор с того, что пробуждение ума возводит (или возводило) его на некоторую высоту. Это так. Не только поэта ждет пушкинское «живи один».

Труд мысли всегда одинокий; нельзя мыслить с кем-то вместе. (Только большевики придумали «коллективный разум Коммунистической партии» — но то было коллективное безмыслие). Умение быть одному, то есть *с самим собой* — одно из самых трудных. Жить с самим собой, в умственном отношении, означает умение оспорить, направить, изучить собственные мысли. Такое умение дает независимость от «общих мнений», п. ч. воспитанный ум уже не видит в них «истин».

Больше того. Не только ум надо приучить к самостоятельности и возможному одиночеству. Одна из целей воспитания в целом — ввести в мир личность, которой никогда (по возможности) не будет скучно с главным, а подчас и единственным собеседником — нашим внутренним человеком. Условия успеха здесь: неленивый ум и пробужденное чувство, и все это вместе с готовностью быть особым, отдельным от других, нерастворенным ни в какой «массе». «Просвещение» — только частный случай воспитания.

Кстати сказать: должно ли воспитание «готовить к исполнению обязанностей» и прочему в таком роде? Нет. В идеале оно должно отвечать на простой вопрос: *«Как быть человеком и что с собой делать?»* На простых примерах, не сообщая глубоких истин о причинах и целях (причины и цели, при желании, личность будет искать сама). Дайте только человеку представление о его дарованиях, возможностях, средствах, необходимых усилиях — сначала в малом, — вместе с чувством собственной ценности. Без этого личность потеряет дорогу, не успев на нее выйти, в лучшем случае — прибьется к какому-то людскому множеству, чтобы «быть как все». Сложную личность не воспитать без прививки уважения к себе. Без готовности ценить себя и свое, защищать внутренние ценности от посягательств — ничего не будет. «Чай, не баре!» — самое скверное, что люди могут о себе думать.

Где нет сложной, самостоятельной, чтящей себя личности — нет и сложной, развитой, выразительной речи; без такой речи нет гуманитарного знания, не говоря уже о мудрости, которая вся вырастает из умения правильно выражать мысли.

За речью стоит душа. Просвещение требует выработанной личности. Личность нуждается в независимости и умственном самостоянии. Знак выработанной личности — сложный, выразительно-мудрый язык. Помыслить себе сложно-

разветвленную умственную жизнь без языка трудно, поэтому «выработать речь» означает в то же время «выработать личность», и напротив, механизация речи, сведение ее к повторяемым однообразным оборотам говорят об упрощении внутренней жизни, о потере самостоятельности ума. Путь к плодотворной сложности идет через личное развитие и уединение. Не только поэту, повторю это снова, сказано пушкинское *«Ты царь: живи один»*.

X. Genius loci. Рождение святыни

Руководящее мировоззрение наших дней имеет в основе веру в механизм. Механически понимаются человек, жизнь... Непредсказуемость, свобода из такого мировоззрения почти изъяты. Саму ткань человеческих отношений (в основе иррациональную) хотят заменить набором «разумно обоснованных» правил... Цель, собственно говоря, не новая. Этой целью задавалась недавно (по историческим меркам) русская революция; теперь ее поставил «передовой Запад».

Трудность в том, что вселенной безразлично, как ее понимают, а вот жизнь и человеческая природа механистическому пониманию противятся, и побороть их сопротивление можно только запугиванием. Жизнь течет по своему извилистому руслу и, сколько ее ни спрямляй, упрямо заворачивает в сторону. Выпрямить ее пути можно только насилием: угрозой, доносом, террором. Жизнь хочет быть неразумной, это ее наибольшее желание.

В отличие от нее человек хочет разумности во всем, больше всего на свете боится потерять разум и личность, и несмотря на это — непрестанно ищет выхода за их пределы. Ведь что значит испытывать «полноту жизни»? Как можно чаще или постоянно выходить из пределов себя, своего постылого «я». Путешествия, любовь, творческий дар, винный дурман — все ради этой цели. Мы знаем «про себя», но не готовы сказать вслух, что путь большей разумности есть путь меньшей одушевленности. Более разумное — менее живое, полнокровное, творчески способное, идет ли речь об обществе или человеке.

Как будто личность дана нам как средство приобрести некий странный капитал, не ради себя самой... Этот капитал приобретается не усилиями разума, но и не «чувством», в смысле раздражения, радости, усталости или довольства. Ценность внеразумнаго исключительно велика, хотя оно и отбрасывается в наши дни как безразличное или прямо больное.

За пределами чистой мысли — значит, по ведомству психологии, если не психиатрии. По общему согласию, человек есть «разум плюс все остальное». Здесь жизнь и мстит упростителям, т. к. важнейшие источники или, скажем, побудители нашего поведения лежат в области «всего остального».

Поговорим об одном довольно редком, но много дающем «душе» и малозначительном для «разума» переживании: одушевлении внешнего мира. Кто долго был один, знает, какую странную живость, окрашенность чувством обретают улицы городов, по которым мы ходим, не желая возвращаться в пустой дом. Внешний мир приобретает, при известных обстоятельствах, черты личности, с которой

мы связаны некими отношениями; иногда даже любовными (что подтверждают многочисленные свидетельства мистиков).

С точки зрения психологии — это проявление беспокойства, отражение подспудного напряжения ума и чувства. Ради спокойствия это переживание необходимо рационализовать, обезвредить, если не убить. Но кроме спокойствия есть и другие ценности, например, смысл. Смыслы, значения вещей не содержатся в них изначально, но прикрепляются к ним путем переживания. Там, где психология добросовестно делает свое дело — их не будет. Будет спокойная, размеренная, совершенно бессмысленная жизнь. Хороша ли такая цель?

Я говорю не об отказе от разумного скепсиса. Добросовестный мистицизм, боюсь, в наши дни уже невозможен. Мы не можем верить своим ощущениям; мы можем верить лишь в то, что за ними стоит нечто большее, чем электрохимические процессы. Сама по себе «таинственность» недорого стоит...

Итак, мы говорили о том, что некоторые духовные сущности создаются из материала наших страстей и нашей тоски — а возможно, нуждаются в известном напряжении всех сил личности, чтобы быть испытанными. Чем напряженнее и острее взгляд, тем больше смысла растворено в том, что он видит.

Музыка и тени, шелест капель, отчужденно-прекрасные здания, неутоленная и потому проницающая всю ткань бытия смутная, ни на что особенно не направленная любовь... В минуты отчаяния или радости или сладко-неразделимого, но пронзительного чувства, в котором есть что-то от обоих; когда душа и мир образуют осмысленное напряженное единство; когда содержание ума и чувства нераздельно — из них рождается *genius loci*, дух места или, во всяком случае, его живое касание — корень религии.

Всякая большая религия вырастает из таких разрозненных и частных ощущений; храмы, обряды, «сила и слава» — все это приходит потом. Религиозен не тот, кто всегда эти ощущения испытывает (это было бы непосильно), но тот, кто об этих мгновениях всеосмысленности, всеоставленности — не забывает.

Наши «священные урочища и дубы», если б религии возникали сегодня, были бы на улицах городов. Здесь наша душа налагает свой отпечаток на мир и испытывает обжигающее с ним единство. Кстати: не только любовь, вообще «теплое и светлое», дает это ощущение всеединства. Ужас, оставленность, понимание непоправимости — также.

Наши предки умели запоминать и ценить такие ощущения; нам они кажутся внутренними, частными переживаниями. Мы настолько забыли, как обращаться со своей душой; настолько забыли, как быть религиозными (если речь не идет

об уже «готовых» разновидностях культа) — что не узнаем религиозное ощущение, даже встретив его. Дело не только в работе машины принудительного обезбоживания (оно же расчеловечивание). Дело еще и в силе привычки. «Религия» для нас, как для того лесковского героя, «в церкви»; внутренние переживания кажутся чем-то малозначительным...

Однако у многих из нас, наверное, есть такие памятные места, священные мостовые — где соприкасалось внутреннее и внешнее, явилось личное откровение; где с нами говорил (как подумали и сказали бы древние) *дух места*.

XI. Речи Раскольникова

Некоторые говорят, что XIX век был веком лицемерия, то есть подавления сокровенных желаний. То же самое можно выразить иначе: XIX век был временем наибольшего порядка в душевной жизни; той самой выправки души, о которой говорилось выше. Что же до «лицемерия», то это оценка нравственная, то есть не по существу. Вопрос в другом: чем этот век платил за упорядоченность душевной жизни, за выправку, за всё, чему жгуче завидует человек XX и XXI столетий? Ответ находим у Достоевского. По ту сторону всех высоких и сложных форм жизни — выведенные в его романах Подпольный человек и Раскольников, оба — ущемленные этой выправкой, царствующим в мире нравственным порядком.

«Отчего такъ бывало, — плачется Подпольный человек, — что, какъ нарочно, в тѣ самыя, да, в тѣ же самыя минуты, въ которыя я наиболѣе способенъ былъ сознавать всѣ тонкости „всего прекраснаго и высокаго“, какъ говорили у насъ когда-то, мнѣ случалось уже не сознавать, а дѣлать такія неприглядныя дѣянья, такіе, которыя... ну да, однимъ словомъ, которыя хоть и всѣ, пожалуй, дѣлаютъ, но которыя, какъ нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболѣе сознавалъ, что их совсѣмъ бы не надо дѣлать?»

Это ведь не к тому сказано, что Подпольный человек (а на самом деле — его создатель) был человек «низкий». Видят в этом и нравственную раздвоенность Достоевского, что к истине ближе, но всё равно мимо. Раздвоение вносится в личность христианской моралью. Не Десятью заповедями, как мог бы подумать читатель, но нигде ясно не выраженным, но основательно усвоенном в христианском мире запретом *желать для себя*, стремиться к личным целям; верой в то, что достойные цели — только ненужные личности, предельно далекие от ее радости и благополучия; необходимостью проносить радость и полноту жизни контрабандой, прикрывая их теми или иными высокими целями. Подпольный человек (и Федор Михайлович) в разных местах, иногда и не очень хороших, свою радость искали, но сказанного выше это не отменяет.

О Раскольникове обычно думают, что он хотел переступить через совесть, и поставил свой опыт, чтобы узнать: вынесет душа «сверхчеловечество» или не вынесет? Но раскольниковский вопрос можно поставить и проще: «Наполеону дано право *желать для себя*, и он действует ради этих желаний. Могу ли я, Родион Романович Раскольников, желать для себя?»

Родион ведь от мамок и нянек еще слышал, что «желать» вообще грешно, а для себя в особенности; а потом узнал, что «желают» все, но не говорят об этом,

потому что приемлемы для общественного мнения только желания ради отвлеченных, чуждых личности целей. Наполеон же не тем удивителен, что

«Двуногихъ тварей милліоны
Ему орудіе одно»,

но тем, что смело желает *своего* и *для себя*.

Раскольников мог бы сказать: известная нам «мораль» сводится к требованию: «ты не должен ничего хотеть для себя» и по сути является школой воспитания неудачников, т. е. обделенных способностью желать. Неудачники утешаются тем, что точка приложения их усилий — где-то за пределами жизненного успеха, вообще *той жизни, которую хотелось бы прожить*.

Это настроение — благоприобретенное, не врожденное. Душа ребенка наивна и хочет *жизни;* потом приходит ум, получивший прививку «нравственности», и учит, что полнота жизни как цель — или безнравственна, или недостойна; что жизнь нужно пропустить мимо себя, а самому направиться к идеальным целям: служению ближним или идеям — к чему-то такому, что сулит награду только в ином мире или вообще никогда.

Быть «нравственным» человеком в *этом* смысле значит быть надломленным, т. к. всякое желание для себя с точки зрения христианской морали — незаконно. Основная ее черта — первенство «я должен» перед «я хочу». Однако для человека естественно, желательно и полезно *хотеть*. Подавляя *желания для себя,* не «облагороженные» безвыгодными целями, эта мораль вырабатывает или человека раздвоенной воли, или хищника, или святого, который от всего *своего* отказался, но больше всего, естественно — первых.

Розанов верно говорил, что «нравственность» в большинстве случаев есть неспособность желать. И наоборот: человек настолько сомнителен с точки зрения общепринятой нравственности, насколько сильны его желания. И даже у Чехова (человека, как кажется, слабых желаний) однажды прорвалось: «нравственно не делать того, чего не делают старцы». Подмечено верно.

Как тут не подумать, — сказал бы Раскольников, — что пока человек не поймет, что «можно» вообще *всё* (за немногочисленными исключениями); пока не освободится от вопросов «хорошо ли то, чего я хочу?», «можно ли мне этого хотеть?», «заслуживаю ли я?» — он будет двигаться мимо жизни. Умение хотеть требует отказа от нравственных оценок, от боязни выглядеть «эгоистом», «желающим для себя». Кого учили «желать для других», тот живет призрачной жизнью...

Закрывая законные пути, — продолжил бы он, — мы поощряем развитие двух типов: слабого, отступающего перед запретами, и не скажу «сильного», но — пролазу, наглеца, который сначала солжет, потому получит-таки свое, но уже через ложь и цинизм.

Остановим Родиона Романовича и спросим: а как же Старый мир, в котором сильные личности попадались совсем не так редко, как в Новом, и способность желать всё-таки *не всегда* уводила личность в «подполье»? Ведь старый мир был, как современному наблюдателю кажется, насквозь христианским, а естественным выводом из последовательно примененного христианства должна быть всеобщая неспособность желать ради себя самого, в то время как жить идеальными целями способны не все, да жизнь и не требует *постоянно* и *исключительно* преследовать идеальные цели.[7]

На самом деле, способность желать в старом мире не оставалась без упражнения; ей были отданы целые области жизни, «скрытые» от взгляда господствующей морали (т. е. морали «нежелания» или «желания ради внешних целей»).

«У влюбленных есть тайна от этики», замечает Киркегор. Человек не терял способности желать для себя — в любви, на поприще честолюбия — и эти желания составляли тело жизни, да и основное содержание литературы. Вся беллетристика старого мира посвящена *внеэтическому* поведению личности, т. е. страстям, стремлениям, поискам удачи и счастья — всему тому, что христианская мораль не может благословить.

«Съ христіанской точки зрѣнія невозможна *акція, усиліе, прыжокъ, игра* въ сферѣ ли искусства, или литературы, или смѣха, гордости и проч.», говорил об этом Розанов. Не потому, что оно как-то особенно враждебно труду и усилиям (напротив); но потому, что оно обращается к внутреннему человеку и отворачивается от внешнего мира с его достижениями; отказывается одобрить любое усилие, направленное на внешние цели.

Почему так? Потому что христианство — религия потрясенной души; в атмосфере катастроф христианин чувствует себя дома, тут вера его дает крылья. Обычная жизнь, требующая любви к солнцу и теплу, для него половинчата, смысл ее неясен, оправдания ей нет (несмотря на все попытки такое оправдание найти).

---

[7] Если бы не общепринятая мораль, высоко ценящая отказ от собственных желаний и служение «дальним целям» — интеллигенцией не был бы принят и большевизм, который от всяких желаний «для себя» Россию освободил. Во всяком случае, «людей ума и чернил» революция соблазнила именно этим. Пока топор не опускался на очередную шею, мерцающий свет нового нравственного порядка манил носимую этой шеей голову...

И в мирное время христианство питает душу, но центр тяжести его в другом месте. Христианство — религия личности, сорванной со своих основ, сколько ни возводи уютных пристроек к изначальному зданию. Дом христианина в Апокалипсисе, к которому он и возвращается при первой возможности. Апокалипсис придает завершенность и смысл его мировоззрению... Пыл, например, русского раскола — пыл души, которая от сонно-мирного и в общем-то ненужного бытия перешла к огненной, но питательной и до конца ясной обстановке конца света. Прошло бесплодное ожидание, началась жизнь!

Христианство — мироотречно. Мироотречность его — от обиды на мир, в котором всё дается или временно, или под условием. Как не обидеться на двусмысленные дары и недоброго дарителя? Обидевшись, не отказаться от всех его приманок? Возможен, однако, и другой взгляд: духовная жизнь, и вообще жизнь, — *приключение*, а не покой, и было б неблагодарно отказываться от возможности это приключение пережить...

Но вернемся к Родиону Романовичу и его речам. «Старый мир» был всё же богат и велик — не потому ли, что «морален»? Напротив, — ответит Родион. Естественным препятствием на пути выработки слабой, готовой к подчинению личности (дело, которое впоследствии так удалось большевикам, *в своем роде* насаждавшим ту же мораль «отвлеченных целей»), были кипевшие в прежнем обществе страсти, унаследованные из внеморальных (вернее, внехристианских) источников.

Плодотворная, богатая жизнь обогащается парадоксальными истинами христианства, но не питается ими исключительно. Христианство хорошо там, где свет его падает косо, а не прямо. Говорить: «христианская культура породила Пушкина и Чайковского» — неправильно. Будь они вполне и только христианами, их гениальности было бы нечем питаться.

Чтобы жить под солнцем — любить, желать, жалеть, стремиться, — нужно быть чем-то еще, кроме «доброго христианина». А уж тем более, чтобы жить творчеством. В действительности Пушкина и Чайковского породила богатая и сложная культура, основанная на *принуждении внутреннего человека,* строгой выправке личности, высших формах внутреннего порядка — со всеми подспудными напряжениями и подпольными бунтами, свойственными этим формам.

Целые области жизни в Старом мире, как я уже говорил, или прямо наследовали язычеству (искусства, военное дело, государственное строительство[8]), или

[8] Не зря А. В. Карташев говорит: величие Петра в том, что тот привил России римское (*языческое*, замечу от себя) начало.

питались могучими мирскими желаниями (брак), — несмотря на выхолащивающее влияние морали, выраженной Розановым в знаменитой формулировке: «мы не посягаем, говорят старцы, и кушают кашку». Церковь была островом, на котором личность могла отдохнуть от житейских стремлений, но сила этого острова была в ограниченности его размеров.

Трудно, — признался бы Раскольников, — оценить значение христианства для личности, потому что оно дает душе иго — и одновременно динамит для его разрушения. Его жизнь — в движении от устойчивости к разрушению и назад. В одном только христианство постоянно: в отвращении ко всем вещам, которых можно достичь. Оно для тех дней, когда сделать ничего уже нельзя; для минут, когда жизнь остановилась...

Уединенному сердцу есть что вычитать в Нагорной проповеди, но всякое желание полноты жизни по определению *неблагословимо* христианством. Весь мир «страстей», достижимых целей, горения ума и чувства находился в прежние времена вне церковного понимания жизни — и эту жизнь питал; и сам, в свою очередь, питался звонким напряжением между долгом (христианской дисциплиной души, «нельзя» вместо «хочу») и требованиями жизни (пламенем страстей в самом широком смысле, от честолюбия до эротических устремлений). Это напряжение (о чем писал еще Ницше) и придает неповторимую остроту культуре Старого мира (последних веков христианской эпохи).

В войне 1914 — 1918 этот мир сгорел. От европейца больше не требуют каждодневного напряжения сил в борьбе с самим собой; свободу он оплатил творческим даром. На очереди — или растворение личности в море бесконечной (то есть неспособной к формообразованию) свободы; или подчинение новому бремени (следующему «единственно-верному мировоззрению» светского или религиозного толка); или (самое трудное и маловероятное) поиск пока не найденного сочетания *высшего развития и полноты жизни*.

XII. Время сумерек

1

Наше время относится к христианской эпохе, как вечерние сумерки к дню. Христианство уходит за горизонт; надо судить о нем, пока оно не скрылось совсем. Мы достаточно рядом, чтобы чувствовать его теплоту и величие; мы достаточно далеки, чтобы понимать, что христианство не синоним религии, но только одно из возможных пониманий жизни и божественного.

Некоторым нравится думать, будто эти сумерки — последние. «Войны и военные слухи» пугают, вера в скорый конец успокаивает умы. Даже больше: христианину необходим Апокалипсис. История, не имеющая огненного конца, кажется ему бессмысленной. Однако история — не отмеренный по линейке отрезок. Она больше похожа на совокупность отрезков, вписанных в круг. Отрезки — отдельные культуры; круг — общечеловеческие способности во всей их полноте. Каждая из культур развивает человеческую природу *в своем направлении* до доступного ей предела. Совокупность таких путей образует всеобщую историю. Все они когда-то прерываются, но концы их — события не мировой истории, а частной.

Окончание одного из культурных путей — не конец мира. В измененных обстоятельствах останутся неизменными основные вопросы ума и души, из них же главный: почему со мной, моим народом происходят именно эти события? «Точное знание» с прохладцей отвечает: *«По случайности»*. Это объяснение не питательно для ума и неудовлетворительно для души, а потому никогда не будет принято. Следовательно, развитие продолжится, пусть и на новой почве.

Однако переход к новому не будет легким. Культура отличается от первобытной простоты избытком дополнительных значений, присоединенных к каждому слову (образу, действию). Этот избыток нельзя приобрести по желанию: он вырастает естественно, с ходом — не лет, но смыслов. Нельзя «создать культуру», т. к. по сути это значило бы «создать себе прошлое». Прошлое можно только *выбрать*, присоединиться к некоторой традиции. Отсюда культурная бесплодность революций.

Из невозможности «создать» культуру не следует, будто новых культур не бывает. Бывают. Но «новыми» они становятся только по прошествии времени, для взгляда из будущего. Для наблюдателя-современника есть лишь поступательное накопление ценностей с прибавлением не бывшего прежде, причем доля этого «не бывшего» постепенно растет. Культурно это означает неизбежную постепенность творения нового; политически — бесплодие всякого активизма, могущего создать только *идеологию*, но не культуру.

2

Христианство казалось вечным, как всякий установленный революцией «новый порядок». Казалось и естественным, и безусловно подходящим для всякого человека, более того — всеобщим, пригодным для всего человечества. Сейчас мы видим то, чего не видели прежде.

В истории борются за преобладание не только «классы и массы», но и психологические типы. Христианское мировосприятие в своей основе, его поэзия и философия — также выражают определенный тип. В слова: «Anima naturaliter Christiana est» можно внести поправку: *некоторые души*. Христианство соответствует определенному душевному складу, но его нельзя надеть, как платье, на всякую душу. Как многие другие вещи, оно не для всех, а для некоторых.

Какой это склад — можно догадаться, глядя на великую, тонко-психологическую, глубоко христианскую в своей душевной зоркости литературу XIX века. Христианство психологично потому, что это религия отступления в себя. Личность заколачивает окна и двери, и в тихой горнице ищет знаки присутствия души — с той же страстью, с какой современность ищет признаки внеземной жизни, но с бóльшим успехом.

Психологичность — награда уму, который отказался от любопытства по отношению к миру. Сосредотачивая внимание на узкой полосе душевной жизни, связанной с ощущениями вины или страха (т. е. области детских переживаний по преимуществу), христианство делается чутко до ясновидения.

Розанов говорит: «От сладости слов Иисусовых прогорк мир». Это красивое описание, но не объяснение. Объяснение — в том, что Евангелие обращается к ребенку в человеке, пробуждает дитя и принуждает к молчанию взрослого. Потому так притягательны его тихие речи. В Евангелии не случайно постоянно повторяются слова: «умаление», «дитя», «малые сии». Это не образы, а прямое и откровенное описание психической практики.

3

Сильнейшей стороной уходящей эпохи, основой всей постройки была вера в единую истину. Сперва это представление вошло в философию, затем проложило себе путь в религию [9]. Неудивительно: наши религиозные представления диктуются мировоззрением. «Философия жизни», определенное понимание вещей —

[9] Что же касается монотеизма в строгом смысле этого слова, то он является философской концепцией, разработанной греческими философами классической эпохи. Его усвоение традиционной религией происходило посредством осмысления младших божеств пантеона как особой категории существ — «ангелов», природа которых не божественна (ранее младшие божества назывались «ангелами» лишь в силу исполнения ими обязанностей посланцев или вестников старшего бога). Христианство пережило такое осмысление уже на раннем этапе, в силу своего распространения в греческой среде. В иудаизм же оно стало проникать лишь с VIII в. н. э. через арамейско-арабское

предшествует религии и определяет если не просьбы, с которыми мы идем к богам, то область возможного и невозможного для наших прошений. Что еще более важно: оно определяет то, что мы получаем по этим молитвам (т. к. «по вере вашей дается вам»).

Итак, вначале была уверенность в единой, обязательной для всех истине. Вера в единую истину связалась с идеей единственного Бога. Стали возможны вопросы «по Достоевскому»: «Если нет Бога, то всё дозволено»; «если нет Бога, то какой же я, к черту, капитан»? Может показаться странным, но Достоевский вписан (или возможность его вписана) в монотеизм изначально. Если истина одна, то других нет вовсе. Его вопросы не атеизмом продиктованы, а чувством отчаяния человека, который понял, что от материка Единой Истины отчалить можно только в никуда, в пустоту.

Истинное «единство» мысли, веры и чувства было бы губительно (что показал опыт XX века). В действительности, единство христианского мира было далеко от совершенства. Зачатки местных, национальных пониманий божественного вспыхивали тут и там под именем «ересей». Целые народы или семьи народов уходили от вселенской веры к «домашней» религии. Не слабость была виновата в расколах, но требования жизни.

Народ, желающий самобытного развития, собственных потерь, но и собственных приобретений, может и должен понимать божественное по-своему. Все великое в культуре национально, и создается в меру особности этого понимания. Нельзя одновременно развивать все способности человеческой природы. То, какие стороны будут развиты в этом народе, этой культуре, определяется их религией. Здесь действует закон обратной связи: люди получают по своим молитвам, а просят о том, чему, по их вере, благоволит божество.

О Достоевском говорят: националист и узко-православен. «Почему „русские“, а не человечество; почему „православие“, а не христианство?» — спрашивает у него Шестов. Это неправильная точка отсчета. Когда Достоевский говорит, что «Бог есть соборная душа народа», он глубоко религиозен, только религиозность это не христианская, а *старшая* — «языческая». Здесь нужно прояснить смысл слова. Язычеством в христианском мире называют нечто «отсталое», «доморощенное», «низкое» по сравнению с идеалом вселенской церкви.

Однако разграничительная линия не здесь. Качественные оценки (в зависимости от приближения к единственно-разрешенной истине) в культуре неуместны.

христианско-исламское посредничество. По этой причине, вопреки общепринятому мнению, иудаизм стал монотеистическим не первым, а последним из «мировых религий». — *С. Петров*. Вот б-ги твои, Израиль. Языческая религия евреев.

Язычество противоположно христианству не в области нравственности, а в пространстве: как местное, национальное, особое понимание истины. Христианство же предлагает одну истину для всех. Единство без принуждения не достигается. Когда Данилевский говорит, что западная цивилизация насильственна по своей сути, он не договаривает: насилие предполагается самой мыслью о единственно-исключительной истине.

Последствия применения этой единой истины вначале были величественны, потом ужасны. Христианство вошло в мир, полный скрытого смысла, а оставляет его обессмысленным, потому что весь капитал вложило в идею Единого Бога, единой истины, которых надо проповедать до края земли и отвержение которых значит и отвержение всякого разума в мироздании.

То же самое можно высказать более приземленно. Европейско-христианская цивилизация распространила свое понимание жизни по всей земле. Это понимание состарилось и ветшает. У Европы больше нет ни духовной власти, ни материальных сил, чтобы его защитить — а миру-то нужно жить дальше, пусть и без Европы и ее истин.

4

Итак, изначальная особенность христианства, источник его основной силы: вера в то, что об одном предмете существует не более одной истины. Принцип мощный, всеразрушающий. «Последняя истина» ревнива, нетерпима. Уходя, она оставляет по себе чистый лист. Нигилизм — естественная ступень в ее развитии. Отсюда бесплодность нынешнего мира.

Откуда уходит христианство, там устанавливается «мерзость запустения». Ничто сильное, самодостаточное, способное к независимому существованию не приходит на его место; все послехристианские силы живут исключительно отрицанием тех или других частей христианского наследства.

В жизни ума и чувства сегодня господствует реакция против христианства. Или чистый нигилизм, смертопоклонство: «ничего нет, кроме видимой глазу *материи* и отмечаемой приборами *силы*, и всё бессмысленно»; или наскоро перекованные из христианских запретов *противоценности* (например, отход от христианского гнушения плотью — понятый как соблазнение масс оптом и в розницу).

Нигилизму противостоят незаконные дети уходящей веры: *идеология* и «единственно-верные мировоззрения» разных сортов. В них проявляется желание сопричастности к единой истине, к группе «правильно верующих». Тотальность христианского мировоззрения унаследована «точным знанием», здесь снова *«едино стадо и единъ пастырь»*. Атеистически-религиозное, непримиримое,

властное «научное мировоззрение» есть, по существу, последняя христианская ересь.

Чем это знание «точнее» (ближе к мировым основам), тем более оно недоказуемо; чем более недоказуемо, тем более требовательно. Ему свойственны хорошо знакомые нам по прошедшей эпохе догматичность, жажда власти над духом, вера в одну и только одну истину (за редкими блестящими исключениями).

Формы мысли вообще долговечнее, чем ее содержание. Воинствующее безбожие (а под маской «точного знания» скрывается именно оно) сохранило все формы христианского мышления, вывернув содержание наизнанку.

Это естественный ход вещей. Отвергая прошлое, реакция не строит собственной лестницы ценностей; она только меняет знаки у ценностей уже существующих. Формы любой реакции предопределены формами явления, которое она отрицает. Способность к самостоятельному формообразованию ей не дана. Это нельзя забывать, глядя на антихристианское движение наших дней. Эпоха-наследница безобразна в меру односторонности эпохи-предшественницы.

Послехристианский мир не просто «искажен». Он кривится, поводит плечами, желая выправить прежние искажения, но необходимой полноты развития, зрелости для придания себе новой выправки не имеет. От той же неспособности к формообразованию страдает и освобожденная от большевизма Россия, при всем различии явлений.

Революция, разрыв со старым миром всегда создают пустоту на месте прежних смыслов. Желание заполнить это пустое место создает «идеологию». Дать человеку чувство причастности к чему-то большему, чем он сам; дать ему чувство праведности (потребность христианских народов, неутолимая после ухода христианства); дать ему смысл поступков более высокий, чем простая целесообразность...

Можно считать правилом: утратив христианство, народы принимаются за построение *утопии*, т. е. принудительно упорядочивающего мысли и мнения общества, связанного одной идеей, своего рода (прошу прощения за варварское слово) *идеократии*. Первыми по этому пути прошли русские и немцы; англосаксы в свое время, в силу особенностей развития, не заметили конца христианства и ступили на путь строительства идейно-обусловленной утопии только сейчас. Идеология, «единственно-верное учение», несогласные с которым принуждаются к молчанию, есть главный признак такого общества. «Моя ценность определяется тем, сколько человек я заставил замолчать», так думали бы строители очередного Прекрасного Нового Мира (социалистического, национал-социалистического, либерального), если бы имели привычку думать.

Другая пережившая свой век форма мысли — вера в скорый «конец света», по грехам человеческим или без всякой причины (здесь современная мысль двоится; одна «школа» утверждает, что нас покарает планета Земля за причиненные ей страдания; другой нравится верить в камень с небес, или смертоносное поветрие, или истребительную войну). Я говорю: «вера», потому что убеждение в скором и непременном конце совершенно иррационально, не вытекает ни из каких данных науки. Это вопрос оценок, а не знания фактов.

Здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали этот разговор. Вера в конец света, в особенности — скорый, парадоксальным образом успокаивает человека, придает смысл истории и собственной его жизни, а заодно и освобождает от беспокойства, ведь худшее вот-вот случится. У того, кто собирается жить, беспокойства гораздо больше...

Так современный человек (сколько бы ни утверждал обратное) не может освободиться от ценностей предыдущей эпохи. Он или отрицает христианство, ставя на место каждой прежней ценности — противоположную, или держится за основные формы, идеи, отказавшись от их сердцевины: от веры в божественное и жизнь вечную. Следующие идеи оказались жизнеспособнее, чем христианство, и до сих пор мерцают в наступившей умственной темноте: личная праведность (причастность высшей истине в деле и мысли); конец света, понимаемый не как угасание, но как насильственное окончание истории, последний суд; единственно-верное учение, требующее искоренения ересей. И основа основ: вера в единственную возможную истину об одном предмете.

Человек, не верующий в скорый и неизбежный конец мирового порядка, находится в выгодном положении, но лишь отчасти. Понимание того, что занавес не опустится окончательно, не освобождает от опасений за ближайшее будущее. Можно только предполагать (а иногда пытаться предсказывать), какими путями пойдет мысль, уйдя из привычного русла. Едва ли она так и останется на мелководье. Одно точно: восстановления старого не будет. Мы можем положить старые камни в основание здания новой культуры, но что разрушено, то уже не выстроить. Это признание развязывает нам руки и освобождает от ненужных мечтаний.

XIII. Надежда

Непрожитая еще часть жизни — тайное сокровище каждого. Нет человека, который был бы к нему безразличен. Наиболее распространенное отношение к собственному будущему есть *надежда*.

Способность надеяться есть, иными словами, способность поступать вопреки здравому смыслу. Надеющийся видит будущность там, где ее нет; находит воздух там, где для крыльев нет опоры; ожидает света глубокой ночью. Огорчения в настоящем его не смущают: будущее заплатит по всем счетам.

Его поступки можно расценивать по-разному. С точки зрения разума, в надежде проявляется или глупость, или безумие, или молодость... Чувство молодости — не только ощущение новизны и неизвестности, но еще и дремлющей силы, для которой всякая тропа — желанное поприще, всякое препятствие — радостное испытание. Молодость стоит наедине с сильным и радостным зверем своей души, и блажен тот, кого дыхание этого зверя не оставляет со временем...

Молодость покидает нас, но надежда остается. Она предполагает, что причинность не всевластна: власть ее подтачивает свобода, то есть удача или, в конечном счете, судьба (судьба или боги: надежда возможна в обоих случаях). При добросовестной, крепкой вере в причинность — надеяться не на что.

Надежда, как мы уже сказали, проявляется в *пренебрежении настоящим ради будущего*. При любых обстоятельствах надеющийся верит, что итог еще не подведен, последние карты не выложены. Личность, способная надеяться, обладает лучшей выправкой, лучше владеет собой, вернее защищена от внутренней темноты, чем не знающая надежды.

Христианство вменило душевную бодрость, надежду — в обязанность. Однако философия надежды обоюдоострая. Удерживая душу от погружения в темноту, она переносит внутренний центр тяжести в будущее, делая настоящее более или менее неважным. Кто переносит все положительные ожидания в будущее — тот полностью обесценивает настоящее.

Говоря о надежде как обязанности, мы сталкиваемся с необычной ее стороной. «Я надеюсь» означает обычно: «я не буду об этом думать» или даже: «я не стану для этого ничего делать». Но надеяться приходится и на маловероятное, совсем невероятное, но необходимое. Надежда сверх всякого вероятия — не легкомысленное откладывание вопроса на завтра, но подъем тяжестей, бремя, которое вынесет только сильный, и то лишь до известного предела.

Можно подумать, будто живущий надеждой уклоняется от настоящего и сберегает душевные силы для будущего. Но сберегает ли? Нет. Надежда *пожирает* силы, не бережет их. Надеяться сверх всякого вероятия — не то же самое, что

бездеятельно ждать. Надеющийся против очевидности нещадно сжигает душевные силы. Он верит в перелом, разрыв причинной связи, в такое «завтра», которое не будет укоренено во «вчера», а оно может никогда не настать. Или настать тогда, когда всякие душевные силы закончатся. Тогда — надрыв сил и отчаяние...

Впрочем, веселую бодрость, о которой мы говорим, нельзя назвать в чистом виде христианской чертой. Она свойственна христианам определенного места и времени: скорее на Западе, чем на Востоке, и больше у одних народов, чем у других. На Востоке та же самая философия надежды породила безграничное терпение... «Деятельное смирение» — явление скорее западное, и проследить его можно вплоть до Эллады:

«Что же еще остается? Ничего другого, как быть самим собой: обладать особым мужеством и противостоянием судьбе, что по-гречески называется τολμᾶν. Остается выдержка и твердое владение собой; стойкость, способная приободрить павший дух; большое терпение, укрепляющее слабого и возвращающее свободу узнику». [10]

Деятельное смирение отличается полной верой в собственные силы, при всей их ограниченности в сравнении с силами судьбы; спокойным и уверенным распоряжением этими силами в кругу нам данных забот — личном космосе, в котором человек сам себе творец и устроитель.

Маленький Принц, который каждое утро приводил в порядок свою планету, поливал розу, чистил вулканы — идеальный пример деятельного смирения. Для философии «терпения» его поведение бессмысленно: жизнь враждебна человеку и однажды кончится; ее надо мужественно претерпеть; улучшать ее — напрасный труд; на земле нужны храм да могила... При этом в основе обоих мировоззрений лежит надежда; только в одном случае она побуждает к деятельности, а во втором — к уклонению от нее.

«Деятельное смирение» отличается от «терпения» и по своим плодам. Терпение сменяется бунтом и потерей всякой нравственной выправки... Деятельное смирение заставляет человека заниматься делами мира более-менее постоянно. Личность «деятельно-смиренная» большего ожидает от мира; надеется на то, что что-то изменится хоть немного, но прямо сейчас, под влиянием наших усилий; ее упования не отложены так далеко, как у личности «терпеливой».

Деятельное смирение не переоценивает будущего, не перемещает внутренний центр тяжести вдаль, но вполне ценит настоящее. Будущее светит и на его

[10] Герман Френкель.

небосводе, но деятельно-смиренный не пытается греться в его лучах. Его поприще *здесь*.

XIV. Смысл прежде пользы

Для животных в мире есть только три рода вещей: опасные, манящие и безразличные. Человек, в отличие от животных, находит в вещах внутренний смысл, сравнивает их ценность и (иногда) объявляет некоторые из них постыдными или запретными.

В мироощущении ушедшей эпохи важнейшее место было отведено греху и стыду. Личная нравственность в Старом мире определялась в первую очередь через соблюдение запретов. Верность государству, честное служение — были в ней второстепенные, языческие составляющие; прививка Рима, без которой христианская Европа не могла обойтись.

Ход событий упразднил религиозную нравственность (в одних странах насильственно, в других — путем постепенных послаблений). Служение государству — не только осталось, но и возросло в цене. Но одной верности государству недостаточно. Личности нужно нечто, могущее руководить повседневной жизнью; если не широкое и всеохватное мировоззрение, то хотя бы его замена; нечто, дающее чувство осмысленности и оправданности поступков, говоря христианским языком — личной праведности.

В разные времена человек обращался за таким руководством к разным силам. Чаще — к религии, реже — к философии. В наши дни он ищет поддержку у сильного, самоуверенного, но едва ли долговечного учения о бессмысленном мире, богатства и силы которого человек (странное исключение, пузырек сознания в потоке, лишенном разума, истока и цели) должен отбирать и использовать рациональным образом...

Но вернемся к предмету нашего разговора. Когда слабеет религия, первым побуждением разума становится: удержать в порядке рассыпающийся образ мира.

Разуму естественно видеть мир разумно устроенным, причем цельным, то есть разумным снизу доверху, вплоть до человека и его души: не только на уровне пляски невидимых сил, которыми занимается наука. Здесь непроницаемая граница между наукой, с одной стороны, и философией — с другой: наука изучает мир без человека, для философии человек есть необходимая часть мирового порядка.

Мысль о мироздании без богов или с такими богами, которым безразлично течение земных дел, не дает человеку опоры. Философия становится ответом на вызов: вызов бессмыслия и ненужности всех вещей. Мыслитель не мечтатель; он ищет, а вернее сказать — создает твердую опору уму посреди вызывающе

(по видимости) неупорядоченных, ничем не оправданных событий. Философия умирает, если ум соглашается принять бессмысленный мир.

Однако для развития философии нужна почва. Способность ценить мудрость выше пользы, готовность к *незаинтересованному мышлению*, умственной роскоши — дается временам и народам неравномерно. Да и одной мудрости, одного искусства мысли для философии недостаточно: нужно еще встречное внимание, готовность слушать, иначе философия останется личной причудой, смешным увлечением ненужного человека...

После заката Старого мира эта почва исчезла. У «освобожденных» масс не было ни умения, ни желания философствовать; а еще менее — у их вождей. Однако от жизни на обочине прежнего культурного мира эти вожди сохранили некоторый запас идей, «правильных представлений» об истории, обществе, человеке... Питаясь этим запасом, выросла «идеология» нового мира.

Идеологию можно было бы назвать «учением о правильных мыслях». На первый взгляд, ее задание почти такое же, как у философии. Идеология придает смысл если не миру, то жизни общества. Но там, где философия идет по пути преодоления трудностей, поднимает тяжести, строит здание — идеология предпочитает не видеть того, что ей не нравится, строит карточный домик и надеется на то, что не будет сильного ветра.

Если философ приходит к выводам, которые определяют его жизнь, то идеолог определяет только мнения, и то — высказываемые вслух. Идеология есть нечто внешнее и принудительное по отношению к личности; не вырастает из ее внутренних потребностей, но навязывается сторонней силой. Ее «идеи» не переходят одна в другую путем внутреннего развития, но цельно, во всей полноте принимаются на веру или отбрасываются.

Идеолог говорит о «правильном», т. е. должном понимании вещей, философ — о «ясном и логически-непротиворечивом, и притом осмысленном» (т. е. не допускающем сомнения в осмысленности мира). Идеология — личная праведность, примененная к мнениям: «думай так, и будешь долговечен на земле». Логическая ценность мировоззрения ее не занимает.

И в то же время идеология напоминает христианскую мораль. Она так же ставит человека в невыносимые отношения с самим собой. Требования идеологии, как и требования христианства, не могут не быть нарушены. Мысли, дела и ощущения делятся на *правильные*, для других — и *настоящие*, для себя. «Идеология» во всех видах предполагает двоемыслие.

Сходство «идеологии» с христианской моралью неслучайно. Она решает те же задачи, давая личности, в награду за «правильное» поведение, чувство собственной ценности. Отличие в том, что идеология, понимаемая как система нравственности, переопределяет «грех» (запретное) через внешнее, а не внутреннее. На место вреда, причиняемого душе, ставится вред, причиняемый обществу. Постыдно — не «думать одно и говорить другое», а «сказать то, что думают все». Благо общества (понимаемое как его безмятежный сон) становится последней ценностью. Личная праведность достигается через служение внешним и только внешним целям. По счастью, в России эта светская мораль не просуществовала долго, но успела опустошить умы двух-трех поколений и привести к полной нравственной потерянности их потомков...

После длительного господства идеологии — мы оказались на пустой земле. Что же нам делать?

Возвращение к религиозной морали, основанной на подавлении желаний, выглядит не просто маловероятным — неплодотворным. Старый мир был и высокоразвит, и богат, но потому, что принимал *мораль запретов* лишь до известного предела (то есть не был вполне христианским, на что без конца обращали внимание строгие проповедники). Плотина, поставленная человеческому желанию жить в мире и радоваться солнцу, уже прорвана, и если и будет восстановлена, то под знаком другой религии. Думаю, мы больше не имеем права *отступать из мира — в душу*, оставляя мир в забросе, как это было когда-то сделано, но и забросить душу ради мира не можем. Нынешнее же ученое безмыслие (уроки пользования бессмысленным миром) никого на долгие сроки удовлетворить не сумеет.

Что же касается мудрости, наполняющей мир смыслом даже тогда, когда голоса старых богов не слышны... Жить в осмысленном мире, строго говоря, труднее. Осмысленность вещей — бремя, слабый ум его охотно сбрасывает. Полезно же то, что делает жизнь проще. Почему, кстати, бесполезна культура — набор усложняющих жизнь правил, образцов поведения, чувства и мысли. И почему мы должны, не опуская рук, держаться за культуру и память о ее достижениях — сколько бы ни твердили нам о «пользе» и «прогрессе».

Чтобы не повторять постоянно смутное слово «культура», проще сказать: «духовный труд». (И пусть не обманывает нас сходство с христианским словоупотреблением.) Речь о труде ума и чувства, направленном на усложнение, углубление личности и способов ее выражения. Ведь общество (как бы ни хотелось некоторым поверить в обратное) есть, кроме прочего, воспитательное учрежде-

ние. Никакого «естественного состояния» человека нет, если не считать состояния дикости. Всякий высший человеческий тип выпестован обществом, его представлениями о культуре, то есть (в последнем итоге) о воспитании.

В том и важность вопроса. Отношение души к миру, смыслы, которые она вкладывает в дела и вещи — всё это касается не праздных отвлеченностей, но самого главного: воспитания человека. Что бы мы ни выбрали: праведность через соблюдение запретов; «пользование» бессмысленным миром; «правильные названия вещей» при безразличии к внутренней жизни души; философскую веру в осмысленность миропорядка — выбранные смыслы определят душевное состояние человека в новом мире, который уже строится и когда-то будет построен.

XV. Вкус к сложности

Мы живем во времена последовательного опрощения и упрощения. Опрощается человек, упрощается мировоззрение. Отблески «старого мира» гаснут или почти уже погасли. Однако и в сумерках продолжается борьба начал, которые когда-то, при других обстоятельствах, вели личность не вниз, а вверх: к плодотворной сложности. Физика человеческой души, если можно так сказать, не меняется. Меняется только состав среды, к которой приложены ее законы.

Простоту многие считают естественным и желанным состоянием. Однако сложность не менее естественна, чем простота, и даже более желанна для ума. «Побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие», говорит Пушкин. Предпочтение простоты — знак сытости или бедности, двух состояний, препятствующих росту.

Или так скажем: воля к сложности, к обладанию отличиями — противостоит детскому или еще звериному желанию *быть вместе со всеми*. Каждый раз, когда человек остается один, останавливается и задумывается, он идет против природы. Высшей точки эта противоприродность достигает в культуре, а религиозно — в христианстве. Кто совершит над собой наибольшее насилие, — говорит христианство, — тот назовется великим.

Разберем эту христианскую черту. Она многое определила в нашем прошедшем, и нам придется помнить о ней в будущем, когда христианства с нами уже не будет.

Христианство — внеприродно и сверхприродно. Отсюда любовь его к чудесам. В попрании естественного — его удовольствие. В христианстве стрела духа прошла природу насквозь. Мир и человек для христианина — нечто такое, что можно гнуть и ломать по своему усмотрению. Вся современная философия «покорения природы» проникнута этим духом.

Насилие над природой, в первую очередь человеческой, а затем и природой мира, та «насильственность» европейской цивилизации, о которой говорил Данилевский — христианская черта. Современное состояние Запада, которое можно назвать *всемогуществом на грани самоуничтожения* — закономерное следствие тысячелетнего «преодоления природы». Божество уходящей эпохи — божество городов, техники, насилия над всем природным. Неслучайно в городах оно утвердилось прежде, чем за их пределами.

Осуждая христианство как внеприродную и против природы идущую силу, некоторые ищут укрытия в поклонении «Природе», даже дают этому поклонению название «язычества». Однако язычество не состоит в «поклонении природе».

Боги и судьба — не то же, что слепая и глухая «природа». Чтобы ей поклониться, надо быть современным (то есть отученным о всякой мысли о живых и сознательных деятелях по ту сторону видимого мира) человеком. Однако верно, что разница между язычником и христианином познаётся по отношению к природе.

Христианство, однако же, боролось с человеческой природой не ради угашения силы, блеска и полноты жизни *как таковых*, но в полном соответствии с формулой Ницше: «человек есть нечто такое, что должно быть преодолено». Оно следовало той «физике человеческой души», о которой мы говорили в начале.

Ум опознаёт свое место в мире через противопоставления: верх и низ, желательное и нежелательное, трудное и простое. Независимо от выбора ценностей (таков общий закон) — трудное совпадает с желательным, достойным, чтобы не говорить «добрым» (смутное слово с оттенком мягкотелости, если не бессилия). Скажи мне, что запрещает твоя мораль, и я скажу тебе, чего она требует.

А мораль (всякая мораль) запрещает идти простейшими, наиболее доступными путями, что проявляется в самой несложной из известных систем нравственности — в правилах любой игры. Наиболее плодотворное поведение в любой области достигается через следование требованиям и запретам, помимо всяких моральных оценок. Образцом поведения всегда считается трудное для личности, требующее усилий, далекое от «естественного».

Причем проявляется это повсеместно, начиная от детских игр и продолжая, скажем, русской литературой, которая процветала при плодотворно-сложной традиционной орфографии и пришла в ничтожество при орфографии упрощенной, «доступной слабым». [11] (Обмеление литературной реки было, разумеется, опосредованно — через понижение общекультурного уровня — связано с переменами в орфографии.)

В наши дни мысль о «подавлении» одних ценностей ради других, об упорядоченной их лестнице — выглядит неуместной. Прославляется, напротив, «многообразие». Но сложность внутренней жизни — совершенно не то же, что это «многообразие», понимаемое исключительно количественно, как стремление к наибольшему числу оттенков на единицу площади. Настоящая сложность пространственна, упорядочена в высоту, основана на подавлении одних ценностей

[11] Заметим: нет «малограмотности» самой по себе, есть желание пользоваться языком, не понимая его смысла. Орфография не может идти навстречу этому желанию. Полупросвещение (или «высшее образование», понятое по-советски), создает личность, которая языком пользуется, но его не понимает. Внутренние связи смыслов, значение слов — всё это ей недоступно или малодоступно. Неслучаен длящийся до наших дней восторг перед революционной ломкой правописания, устранившей из письменной речи тонкие оттенки смысла.

и возвышении других. Здесь ключевые слова: *подавление* и *возвышение*. Многообразие однокачественных, но разноцветных песчинок — не то же, что многообразие частей здания.

Либеральная мечта о культуре без подавления одних устремлений другими так же беспочвенна, как мечта о мире, в котором действие не вызывает противодействия. Может быть, такое и возможно, но при других физических условиях. Сейчас нам предлагают «розовую», сахарную физику общественных и душевных движений. Однако первый закон *настоящей* общественной и душевной физики следующий: нельзя утверждать, не отрицая; нельзя поощрять, не запрещая; всякое утверждение является отрицанием, а поощрение — запретом. Всякая мысль — не висит в пустоте, но занимает место, отнятое в борьбе у других мыслей, которые ей удалось потеснить.

Либеральная мысль хочет быть мыслью антихристианской и провозглашает нечто, на вид, на слух вполне «противохристианское». Однако по тому, как она себя проявляет, — это мечта о культуре, «доступной слабым», об устранении состязания и (самое главное!) всякого *роста через усилие*, ибо самая мысль об усилии оскорбляет слабых, как мысль о богатстве — бедных, следовательно, сами понятия *усилия* и *богатства* из общепринятой системы ценностей следует изъять.

Этот идеал «общества для бедных и слабосильных» — уменьшенный слепок с христианского идеала, с присущим тому отвращением к силе, полноте и яркости бытия. Однако Церковь преследовала «страсти», а либерализм выдавливает из мира всякую силу, будь то «страсть», сила ума или крепость духа. Он только *выглядит* противохристианской реакцией, по существу же это выхолощенное, бессильное продолжение христианской идеи. Церковь возрастала насилием сильных над своей природой, а здесь — вялое потворство не страстям даже, а страстишкам.

Уход христианства с его плодотворным (хотя и опасным) насилием над душой, разлитие либерализма с его неспособностью питать высшее — повод задуматься над путями воспитания высшего человека.

Это всегда выработка личности, способной к мышлению, решениям и поступкам в одиночестве. Внутренняя сложность равносильна уединенности. Саморазвитие ведет вовнутрь. В уединении происходит все самое важное для ума и духа, но среди людей и с людьми — все необходимое для чувства.

Отделить один поток от другого, внешнее от внутреннего, значило бы обеднить жизнь, как это и делалось когда-то. Предел «мироотречного» настроения —

мир, оставленный в забросе, ненужный, только терпимый. Не следует и невозможно второй раз ступать на этот путь. «Старого мира» больше не будет. Но задача выработки личности стоит перед нами, как стояла перед деятелями прошедшей эпохи.

Спросим себя: что такое личность: данность или достижение? По видимому, ни то, ни другое. Личность подобна зданию, которое само себя строит. Всё, что может ей дать внешний мир — это твердая почва и воля к самостроительству, вкус к сложности, не побоюсь сказать — вкус к игре. Ведь человек не просто «работник». Революция рыла себе яму, когда вместо всех высших способностей и вопросов предлагала личности «ударный труд». Мало «служить». Всякому нужно изощрять свои способности; кроме «пользы» искать красоты; вносить в жизнь *игру*: искусственные правила, которые не имеют ценности для достижения простейших целей, но делают жизнь богатой и теплой.

Плодотворная искусственность жизни — первый шаг к собственно *искусству*. В мире должно быть место не только для «дел», но и для обрамляющей их игры. Для писарского росчерка на бумаге; для красоты венчающего строку ятя. Купец, московский особняк которого украшает перевернутая рюмка, умел не только «делать дела». Так и Матвей Казаков закручивал спиралью, пока не видит почтенный заказчик, дымовую трубу Петровского дворца...

Вопросы о личности и ее занятиях — не отвлеченные разговоры, как может показаться, а самые злободневные, связанные с одним главным вопросом, а именно: *как и для чего жить*?

Если мы принимаем, что жить нужно так, чтобы испытать все высшие способности своей природы без прямого и намеренного ущерба другим живущим, — желание образовать высшего, сложного человека не кажется блажью. Даже с стороны житейского удобства личность, которой не бывает скучно наедине с собой, тверже, безопаснее стоит в этом мире, чем та, которую нужно постоянно развлекать.

Когда-то Романовы прививали нам вкус к культуре на соблазнительном и блестящем примере Европы. Сложность тогдашнего высокоразвитого, на последнем своем подъеме стоящего европейского мира была великой удачей для Петра и наследников. В Европе манили не сытость или спокойствие, как теперь, а многообразие ощущений ума и чувства — маловажное для современного русского обстоятельство.

Русский ум еще был здоров и, как всякий здоровый ум, стремился к новому опыту. Состояние усталого цинизма, скрывающегося от вездесущей «идейности»

за оградой водки и сквернословия, было ему неизвестно... Теперь русскому человеку заново нужно прививать утраченный вкус к сложности речи, мышления, поведения, так как уничтожено само стремление отличаться, быть лучше, руководиться более сложными правилами. Всё съедено упрощением... А ведь более сложные умы, способные к пониманию более глубоких вещей — это, а не количество сложных технических устройств, есть мера общественного развития.

XVI. О «новом человеке»

Одним из главных обещаний революции было обещание создать «нового человека». Рассмотрим же, какие средства она применяла, каких целей хотела достичь, и что у нее получилось.

Главным упованием революции была наука. Розанов, во времена недолгой своей левизны, восклицал: «въ революціи главное суть не сами революціонеры, а наука». Наука, разум уничтожат религию и займут ее место. (О том, что «занять место религии» означает, собственно, «стать религией» — тогда не задумывались.) Наука создаст нового человека и новые отношения: разумные и справедливые. Новый человек получит образование, прежде ему недоступное, и процветет «общенародная», не только просвещенному классу доступная культура.

Таковы были надежды и обещания. Действительность оказалась иной.

В действительности созданная новым порядком среда для человеческого развития оказалась непригодной. Сейчас, после конца этого порядка, мы видим, что наследовать чему бы то ни было «советскому» невозможно. Самый язык нужно пересоздавать, очищая от проникшего повсюду ложноученого и партийного жаргона. [12] Порча устной и письменной речи тем более удивительна, что прежняя русская литература при новом порядке никогда не выводилась из обращения целиком. Запрещались или отдельные ее представители, или отдельные сочинения писателей разрешенных. Видимо, преобладающего влияния на умы эта литература уже не оказывала. В связи с этим надо заметить, что философия или, скажем, такая богатая мыслями литература, как русская, предполагает наличие большого числа людей, которые не только жили, но и размышляли над своей жизнью. Без них любая, сколь угодно глубокая культура зачахнет, оказавшись никому не нужной, — или будет скользить мимо ума и души, развлекая, слегка образовывая, но не затрагивая ядра личности.

Книга не волшебное средство, не «благодать», действующая помимо воли читающего. Чтение — проявитель для внутренних склонностей, мыслей и побуждений читающего, ему нужна *трудящаяся душа*. Труд, образующий личность, ей не в тягость; здоровые ум и чувство сами ищут его; однако их можно отвлечь, заставить распылить свои усилия, притупить внимание. Это и произошло.

Возьмем, например, поэзию. Жуковский некогда восторженно сказал: «поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Даже смотря на вещи спокойнее, надо признать, что поэзия всегда (или в основном) о «внутреннем человеке», о душе, о

[12] Об орфографических утратах я и не говорю. Вопрос о русском правописании был решен в 1917 году так же неудовлетворительно, как и все остальные русские вопросы, и решение это ждет своего пересмотра.

тайне мира. Как только поэту говорят, что у мира нет никакой тайны, ему делается не о чем писать. Если за миром нет тайны, за личностью нет души — чувствовать, мыслить, писать незачем. Поэзия неотделима от религии, даже когда не знает, как зовут ее богов. Кстати сказать: основы религии вообще — до богов, в чувстве личной укорененности в мире, под поверхностью мира. Поэт, как и философ, есть человек, зачарованный тайной собственного бытия...

Итак, поэзия развивает слух к внутреннему, тайному, священному. Но этого внутреннего слуха, внимания к своей тайной жизни (кроме разве что фрейдистского любопытства) — больше нет. Этот слух дается религией, не в смысле храмов и служб, а в интимнейшем внутреннем: в чувстве, что ты кому-то несешь свою душу, пусть даже не знаешь, кому; а религия оказалась вычеркнута из жизни.

И мы увидели поэзию, которая занимается или прославлением правителей (это занятие для нее не ново), или развлечением детей (это многие склонны вспоминать с теплотой, хотя по совести, я не могу признать большого значения за поэтами, веселившими ребят), или сочинением более или менее постных стихов «о любви» — так, чтобы эта любовь не отвлекала личность от служения государству. Самой главной своей роли в Старом мире, роли *пробуждения личности*, такая поэзия не играла и играть не могла. (Мы не будем сейчас говорить о том, что помимо *разрешенной и мертвой* литературы существовала и *запрещенная и живая*. В любом случае, корни ее были перерублены и живые соки ее уже не питали.)

Что это за пробуждение? Всё то, что ведет личность к подъему над привычкой, над сонно-животным существованием, над «умственной ленью», как говорил Чехов. Шахматы и иные теплые «хобби» не в счет, они не пробуждают, а усыпляют; образованность и «умственный труд» по привычному лекалу также ни от чего не защищают, т. к. пробуждение предполагает самобытность, ясное самосознание, чувство личной особности — всё то, что современный порядок старается в человеке угасить. Нет высшей культуры без религиозности в той или иной ее форме, без мыслей о божественном и судьбе. Изымая эти вопросы из рассмотрения как «бессмысленные», новый порядок обескрыливает личность. К высшему человеческому нет пути мимо божественного. «Интеллигент» — плод негодной попытки получить высшего человека без Бога и внутреннего труда, силой одного только чтения. Свято место библиотекой не заменишь...

А в сущности, «советская культура» сводилась именно к грамотности и библиотеке, вещах немаловажных, но бессильных отдельно от общего содержания личности. (Я уж не говорю о том, что из этой условной «библиотеки» было, на

протяжении большей части советских лет, вычеркнуто едва ли не все важнейшее и питательнейшее для ума и духа: от Платона и Библии до Конст. Леонтьева, пророческих вещей Достоевского и богатейшего наследия Белой эмиграции.)

Это общее содержание было при старом порядке неизмеримо богаче. Я не раз уже говорил в этих очерках, что человек Старого мира рос, так сказать, при свете множества огней, не одного-единственного. У личности было больше свободы, т. к. больше было центров силы и были они, соответственно, слабее. Язычество (в искусстве и в государственной жизни), библейские воззрения и, условно говоря, Милль с Дарвином существовали рядом и питали ум и душу *вместе, но не одновременно*. Богатая личность человека XIX столетия была личностью многоосно́вной. Чем меньше источников истин в обществе, тем они принудительнее и жестче.

Коренной же чертой нового порядка было выведение всех наличных «истин» из одного источника, той самой «революции-науки», о которой говорил Розанов. Любое утверждение отцов коммунистической веры объявлялось «научным»; наука, в свою очередь, подавалась как источник истин, во всём противоречащих религии и, шире, философскому идеализму; и если наука вдруг признавала нечто невидимое, но действенное, вроде «наследственного вещества», «партия» приходила в ужас, ибо это смущало ее материалистическую девственность.

Здесь мы подходим к любопытной особенности XX века.

Все, что высвобождается при распаде Старого мира, хочет быть религией, тяготеет к религии христианского толка. Национал-социалистическое и большевицкое мировоззрение; либеральное мировоззрение (еще один путь к «последней истине»); и наконец, «религия науки». В мире пустеющих храмов не остается места для не-священного в христианском смысле, т. е. для того, что не связано с Истиной в единственном числе. Все перечисленные силы ревнивы, не терпят соперничества, желают всего человека: ум, волю и сердце.

Послехристианское общество нуждается в *предписывающей религии*, хотя бы мировоззрении, которое могло бы ее замещать.

(Конечно, жить по христианским правилам, не нарушая их на каждом шагу, было невозможно. Однако они придавали дух и стройность общественной и частной жизни. Не в силах руководить всей человеческой жизнью, поскольку бо́льшая ее часть оказывалась в области «греха», они подавали личности руку на высотах и в низинах, там, где обычное течение событий прерывалось.)

Отчего так? Оттого, полагаю, что человек бывшего христианского мира не приучен к свободе, он весь в Достоевском: *или Бог* (то есть, в практическом применении, метание между Жизнью и монастырем), *или разврат*. Он хочет

цельности, подчинения всего — одному. И он, к сожалению, эту цельность находит. О других возможных отношениях к божественному — таких, которые оставляют место человеческому разуму и свободе, — этот человек еще не задумывался. «Или Бог, или свобода! Или Бог, или разум!» Это плод недомыслия, бунт подростка. Неудивительно: Евангелие обращается к ребенку. Восстание против него неизбежно принимает облик подросткового бунта.

(Я упомянул выше Достоевского, это не значит, что неутолимая жажда цельности имеет в себе что-то особенно русское. Нет, западные народы тоже создали свои предписывающие мировоззрения: национал-социализм и либерализм. Мы, русские, не одиноки на этом пути...)

Итак, освобожденное от «тирании господствующих классов» и «религиозного мракобесия» общество ищет учения, которое освободило бы личность от поисков и вопросов, дало бы ей спокойствие и чувство личной праведности, и находит такое учение. С упоминания такого учения мы начали этот очерк.

Я говорю сейчас не о притязаниях марксизма на «научность» (они развенчаны еще С. Булгаковым), а о чем-то большем и сильнейшем, чем марксизм: о «религии науки», этой тени настоящей науки. «Религия науки» желает власти над умами через проповедь Единой Истины, нетерпимой и односторонней, в то время как истинная наука есть знание о числах, о количественно измеримых вещах. Всё, что выходит за пределы изучения числовых соотношений: мнения о смысле жизни, мира, богах и судьбе — есть не наука, а религия, как бы она себя ни называла.

Вера в «объяснение мира», «исчерпывающее познание природы» — всегда только вера. Разуму доступно менее величественное, но безусловно увлекательное «исследование той части мира, которая поддается изучению». Ради разума нам следует низвести «религию науки» с «верха горы», на котором она так хорошо устроилась, и рассмотреть с тем же пристрастием, с каким она рассматривает другие дела человеческие.

Критическое отношение к вещам не должно останавливаться на современности. Представители «религии науки» умеют критически смотреть на прошлое, и кое-какие грехи его видят верно, но настоящее в их глазах непогрешимо.

«Мы поклоняемся всякой современности, не разбираясь въ ней, потому что для насъ, идолопоклонниковъ историзма, все фактическое стало благословенно. Но этого мало. Если передъ современностью мы раболѣпствуемъ, если не смѣемъ открыто предпочесть

прошлое, то ужъ передъ будущимъ мы давно привыкли испытывать умиленно-трусливую оторопь».[13]

«Религия науки» хвалится преемственностью от греческой мысли, но из всех эллинов признаёт одного Демокрита; кроме того, греческая мысль никогда не была враждебна богам; так что нельзя не признать, что завещание подложно. Истинный наследодатель «научной религии» — не эллинство, но христианская Церковь. «Многіе замѣчаютъ, — говорил уже Розанов, — что и въ наукѣ, и въ революціи есть какой-то „суррогатъ религіи“. Есть прозелитизмъ, есть фанатизмъ. Уже есть бездна мучениковъ и героевъ...» И продолжал: «наука стала „суррогатомъ религіи“, или, точнѣе, стала ее замѣщать, взявъ себѣ ея темы и задачи».

Так! И Ум спокойно спит, пока за власть над ним борются Церковь и противохристианская реакция (оцерковляющаяся наука). Ее противохристианство питается, кстати, не только церковными притязаниями на «единственную истину», но и отвращением к умственной сложности, присущим полуобразованному классу, — чем дальше, тем больше захватывающему власть. Христианство противно ему своей языческо-философской, античной закваской, всякую тень которой изгоняет из мира «научная религия».

Ведь эллинское язычество — мать всякой философии, т. к. дает личности пространство для мысли и спора вне храма, благочестия, культа. [14] «Научная религия», верная дочь христианства, не допускает ничего внешнего по отношению к себе и своим истинам. «Кто не с нами, тот против нас».

«Хорошо», — скажете вы. — «Наука становится Церковью, ее нетерпимость в самом деле подозрительно что-то напоминает, но почему же наука в вашем „Старом мире“ удерживалась на своей высоте?»

Здесь время сказать о следующем достижении «нового порядка», о котором сами ниспровергатели Старого мира и не мечтали. Достижение это есть *полупросвещение*, и мы о нем уже говорили. Полупросвещение очень похоже на настоящее просвещение; как и последнее, оно основывается на грамотности и

---

[13] В. Ходасевич.

[14] Как говорит о нем В. Буркерт: «Человек <в языческом мире> должен лавировать между множеством требований и необходимостей; благочестие есть ум и „осторожность“. Как раз в этом, однако же, и состоит шанс многобожия охватить многообразие действительности, не закрывая глаза на противоречия и не будучи поставленным перед необходимостью усиленного отрицания какой-либо из ее частей. Человеку даже остается свободное пространство по ту сторону удовлетворенных требований; поэтому у греков закон и этика могли развиваться как человеческая „мудрость“, независимо и одновременно в согласии с богом; высказывания мудрецов и закон высекались на стенах храмов и тем не менее всегда считались человеческим дерзанием, а не божественным откровением».

книге. Большевики не случайно пеклись прежде всего о распространении грамотности. Человек, снабженный грамотностью и не приученный думать (т. е. не пошедший дальше этой грамотности) — был им лучшей опорой в силу естественной для него склонности принимать первую же прочитанную книгу за истину.

Полуобразованность есть именно *знание книг*. Если в случае истинного просвещения «книга может только направить на путь, идти по которому придется одному», то путь полуобразованного начинается и заканчивается на книге. Как и многое другое, чтение — благо только до некоторого предела. Ум, перекормленный книгами, становится неплодным. Чтение должно дополняться «ленью», временем свободы от чужих мыслей и вольного поиска «своих».

«Полупросвещенный» — плохой мыслитель, но (в известном смысле) хороший христианин, т. е. человек предшествующей эпохи: он знает, что «истина» в лучшем виде содержится в книгах. Здесь нет какого-то особенного укора христианству, только указание на его природу. Христианство есть религия книги. Всё, чего в этой книге нет, несущественно или не существует. Умственный отпечаток, оставленный Церковью, настолько глубок, что до сих пор, после всех потрясений, ум по всякой нужде прибегает к спасительной книге, вместо того, чтобы сомневаться и рассуждать самому.

Общество, в котором мы живем, есть общество полупросвещения, приученное уважать книгу, но не мысль. Мысль, если она жива и глубока, нередко враждебна книгам; собственно говоря, существование в виде общепринятой и почитаемой книги есть для мысли разновидность загробного существования — когда огонь ее погас.

Но мы отошли в сторону от предмета. Скажем кратко: наука теряет почву под ногами по мере того, как привыкает полагаться на внешний авторитет и общепринятые мнения, а еще более — по мере того, как сознательный труд прошедших философскую школу умов сменяется работой «образованных», но не просвещенных рядовых ее деятелей.

Эта утрата почвы готовилась уже давно — с тех пор, как в науку тайком, исподтишка была привнесена вера в равенство, в то, что личность — ничто, а «метод» — всё. Расхожее мнение таково: «Верные методы приводят к верным результатам независимо от личности трудящегося». Однако в действительности именно ум, его воспитанность, глубина и развитие (безнадежно вненаучные категории) имеют определяющее значение. *Ум прежде науки*. Школа мысли прежде знания фактов.

Навязывая механическое представление о мышлении (как, будто бы, простой работе над облеченными в слова мыслями), мы отрезаем уму путь в глубину, к

погружению в предмет. Умственный труд состоит не в «работе над мыслями, выраженными в словах», а в умении установить связь с областью, где кипит лишенное слов и образов *чистое понимание*. Это чистое понимание сгущается и буквально на кончике пера воплощается в слова, но сам творец не прибегает к словам, пока мыслит. Он погружается в это кипящее понимание и приносит оттуда нечто такое, что при охлаждении становится словами. Игрой со словами занимается только неприготовленный к такому погружению ум...

Распространение образованности есть распространение неподготовленных к мышлению умов. Поскольку же человеку свойственно судить о вещах, неизмеряемых количественно, «о первых и последних вопросах», образованность берет на себя и метафизические суждения. Этим попыткам дал исчерпывающее определение Э. Шрёдингер. [15]

Да и вообще, всякая метафизика как суждение «о том, что превосходит геометрию», есть сумма внутреннего опыта и основанных на нем предположений, т. е. нечто необходимо личное. «Научные» суждения о смысле жизни и бессмертии — плоды внутренней жизни ученого, и как таковые, они ничем не лучше христианской метафизики греха и спасения. Чувство уныния и оставленности, поощряемое определенными занятиями и определенной средой, не является общеобязательным ниже́ общечеловеческим. Оно местно, временно, имеет исторические корни и потому преходяще.

Христиане, кстати, любят обвинять атеистов в гордыне. Но дело иначе обстоит, современный атеизм не от гордости. Человек теперь не «бунтует» против божественного (кроме университетского атеиста, который продолжает схватку с Церковью, начатую несколько веков назад). Он безбожен от собственной пустоты и плоскости; не видя в себе ничего замечательного, чудесного, таинственного, не видит их и в мире. Всякая религия начинается с удивленного взгляда внутрь себя. Этого взгляда нет больше. Человек неинтересен сам себе, и в мире ему скучно. «Это все про неправду писано-с!» — говорит он и идет работать или развлекаться. Религия происходит не от «веры в богов». Религия происходит от веры, в первую очередь, в собственное бытие. А в него-то современный человек и не верит.

Этот человек поставлен в такое общество, в такие обстоятельства, в которых у него нет возможности ощутить себя свободным самодвижущимся единством

[15] «Часто бывает, что наука довольствуется тем, чтобы пошатнуть распространенные религиозные убеждения, не пытаясь их чем бы то ни было заменить. Так создается карикатурное явление: научно вышколенный, высокоосведомленный ум с невероятно детским — неразвитым или атрофированным — философским мировоззрением».

(какое в человеке видит религия — всякая, не только христианский персонализм). Свобода движений почти отсутствует, личность связана умственно и имущественно — и тем легче ей верить в то, что человек только пар над водой. «Если в этом мире мы бесправны и незначительны, то что говорить о других».

Но всё это, как сказано выше, «местно, временно, имеет исторические корни и потому преходяще». Важно не терять самообладания, не принимать глубокого религиозного и культурного кризиса (а упадок господствовавшего полторы тысячи лет понимания божественных вещей одновременно с разрушением педагогической системы, способной выковать высоко поднявшуюся мыслящую личность, — это глубочайший кризис, предоление которого потребует долгого времени) за конец света. Конец света — принадлежность лишь одной из возможных религиозных философий истории. Что же до «нового человека», то новизна его будет сопряжена (когда этот «новый человек» в самом деле начнет вырабатываться) с глубиной и силой, а не с бледностью и посредственностью ума и восприятия.

XVII. Мысли и мнения

Наше время много говорит о ценности свободного выражения мнений. Под «мнением» понимается нечто самоценное и священное; «многообразие мнений» стало высшим культурным благом... Пора исследовать это священное мнение и определить, если возможно, его истинную цену.

Есть два вида «мнений». С одной стороны, так называют высказанное отношение человека к любому вопросу. С другой, всякого рода (как сейчас модно говорить) «самовыражение» в творчестве — тоже мнение. Те и другие мнения сейчас полагается приветствовать, как бы дики они ни были.

Поговорим о мнении — плоде встречи с новизной, со всяким новым вопросом.

Это отношение может быть и продуманным, и обоснованно выраженным, но в действительности редко им бывает. Как правило (речь не идет о суждениях обоснованных) человек случайно сталкивается с чем-то для себя новым и наскоро вписывает это новое в свою картину мира — или вычеркивает из нее как неуместное. То и другое он делает не под влиянием мысли, но силой чувства. «Многообразие» этих чувств при встрече случайного человека с новыми мыслями и явлениями и объявлено священным. Выработка определенного внутреннего отношения к вещам естественна и необходима. Вопрос в том, обладает ли оно общеобязательной ценностью.

Важные, большие вопросы неподготовленный человек предпочитает не решать, конечно (не все вопросы вообще имеют решение), но хотя бы затрагивать — только чувством. Отторжение или отрицание — естественный отклик на новое и непонятное. Чтобы задуматься, нужно подавить этот естественный отклик, выйти из состояния покоя и сделать усилие. Мысль при встрече с новым никоим образом не «естественна». Естественно было бы — испугаться или возмутиться, и затем забыть.

Если ум все-таки пробуждается от столкновения с неизвестным, у него есть два пути. Или задаться вопросами: «что это значит для меня? отвечает ли моему опыту?» Или сравнить новое утверждение со списком наличных истин, и не найдя — отбросить. К сожалению, образование чаще дает человеку список готовых истин, чем желание задавать вопросы. К еще большему сожалению, образование воспитывает не скепсис по отношению к наличным «истинам», но слепое отвержение всего, что в них не входит.

Первый путь есть путь мысли. Второй — путь (неосновательных) «мнений». В известном возрасте — мнения обаятельнее мыслей. Они воспламеняют чувство; делают одиночку частью некоего «мы»; как правило, они *обвиняют*, т. к.

ставят личность на уровень выше окружающих (по обычному обману зрения, обвиняющий всегда нравственно выше обвиняемого)...

«Мнения» не признак зрелости, совсем напротив. Наиболее склонен к мнениям ум невоспитанный и малознающий. Для многих «иметь мнение» — то же самое, что «заявить несогласие». Согласие принимается за признак отсутствия мнений, если не за прямое малодушие. Однако одобрение вещей или хотя бы признание наличного положения *меньшим злом* может быть основано на понимании, а не на желании приспособиться.

Среда школьников, студентов, членов политических кружков — вся пропитана «мнениями», но не содержит ни одной мысли. Мысль (мы к этому неизбежно приходим) есть нечто *качественно* отличное от мнения. В чем их различие?

Мысль основывается на погружении в предмет. Мнение есть знак согласия или несогласия, благодаря которому свои узнаю́т своих; метка, по которой находят друг друга члены будущей стаи, в то время как мысль — знак одиночества. Мнение торопятся выкрикнуть — мысль носят внутри. Мнение ищет резкости выражения, мысль — ясности. Мнение ведет к другим людям, мысль — в уединение.

Что же касается мнения творческого, произвол которого будто бы нельзя ограничивать...

Общим местом стало то положение, что «все, что из человека исходит — хорошо, только не мешайте ему высказаться». Это положение ложно. Не все, что из человека исходит — хорошо или хотя бы необходимо.

Желание «выразить себя» редко бывает оправданно. Не все заслуживает «выражения», но только неповторимое по существу или по способу выражения (форме). Творчество не путь «самовыражения». В творческом труде проявляет себя высшая упорядоченность, сосредоточенность внутренней жизни. Личность творит не потому, что ее «обуревают чувства», и не для того, чтобы выразить первые пришедшие в голову мысли (о творчестве детей и сумасшедших мы сейчас говорить не будем, хотя оно ближе всего к современному идеалу «беспорядочного самовыражения»).

Совсем напротив: человек-творец (в области мысли и слова) — человек, который промолчал, удержал *мнение* при себе, чтобы продумать *мысль* до конца. Только невысказанное вовремя мнение становится мыслью. Общество, которое поощряет всякое «мнение», рискует остаться вовсе без мыслей.

Хуже: устраняя всякие препятствия между желанием высказаться, речами и слушателем, мы обесцениваем слово. Нет никакой ценности суждений «вообще», ради которой стоило бы умножать их без конца. Ценно или то, что верно и ново,

или то, что удачно выражено. Слово ничем не ограниченное на пути от желания до высказывания есть блуд. Смерть всех искусств, имеющих своим орудием слово, — первое следствие ничем не ограниченной свободы высказывания.

Почему так происходит? Дело не только в строгом внутреннем суде, которым творец судит свои создания и который отменяется «самовыражением». Дело еще и в редко рассматриваемой общественной стороне творчества. Во всякой умственной деятельности, пока она имеет смысл, не омертвела, не стала пустой самоцелью — есть начало состязания. Есть творческая сила, есть правила ее применения, есть судьи и оценщики.

Начало *состязания* уходит на наших глазах из культуры, потому что состязание предполагает как *строгие правила*, так и *ограничение числа участников*. Правила отменяются «самовыражением», а число участников становится неограниченным: хотя печатный станок и умирает, его заменяют другие средства распространения мыслей. Состязательность уничтожается под громкие слова о демократии, хотя что может быть демократичнее состязания?

И что еще любопытно: «освободительное движение» последних столетий прежде всего заботилось о том, чтобы устранить состязание ценностей (то есть «демократию»). Освободители знали, что их ценности никогда не получат общей поддержки. Первый шаг на этом пути — отказаться от общепринятых правил оценки. В литературе, скажем, судить писателя не по его мысли и слогу, а по «смелости и честности». Хорошо также «разнообразие» (новейшее поветрие) как мера достоинств. Главное — запутать правила и призвать к оценке неопытных или просто негодных оценщиков.

Рассвобождение, взятое как философия и самостоятельная цель, всегда было враждебно началам состязания и свободного выбора. У «освобождаемых» писателей не спрашивали, ломать ли русское правописание; у «освобождаемого» народа не осведомлялись, что он думает об уничтожении храмов. Принуждение и кнут суть первые средства освободителей.

Впрочем, мы уклонились в сторону.

Обобщим сказанное: если мы одним и тем же словом (например, «искусство») называем и нечто с ясными правилами и с ограниченным числом участников и оценщиков, и нечто не отвечающее такому определению, то для одного из этих предметов надо придумать другое название. Можно и не придумывать, но тогда нас ждет путаница понятий и сравнение вещей, между собой не сравнимых.

***

Итак, мы пришли к разделению. Потребность выкрикнуть, «заявить несогласие», утвердиться через объединение с подобными себе есть потребность в «мнениях». Это потребность общественная, разделяющая и связывающая человека с другими. Общеобязательной ценности «выкрик» не имеет... Только по недоразумению эту потребность смешивают (чем дальше, тем больше) с другой: с потребностью в уединенной мысли, которая никого и ни с кем не объединяет, напротив — уводит в пустыню, и которая ценится обществом тем больше, чем это общество, по своей природе, дальше от толпы. Личность ищет глубины и своеобразия; толпа — знаков родства и отталкивания, чтобы вместе нападать и вместе убегать...

Глубина мысли и пресловутое «многообразие мнений» друг другу противоположны. Глубоко продуманных, цельных взглядов на жизнь никогда не бывает много; большинство предпочитает принять тот или иной глубоко разработанный взгляд вместо того, чтоб разрабатывать его самостоятельно, и это естественно. «Многообразие» возможно только для неосновательных, непродуманных, не вытекающих из вчувствования в предмет мнений, словом — для мнений поверхностных. Оно хорошо для первоклассников, не для зрелого общества.

Будем же пестовать мысли и воздерживаться от мнений.

XVIII. Вселенская вера и частная истина

1. Истины и люди

По отношению к истине люди делятся на три рода. Первым истины безразличны. Они принимают происходящее без раздумий. Вторые верят в единую Истину и радостно ее находят в писаниях, от Ветхого Завета до Фрейда. Их удовольствие: ниспровергать чужих богов. Третьи верят в существование частных *истин*. Писаний им недостаточно; мысль о «единственно-верном мировоззрении» их не радует.

Люди второго и третьего рода нуждаются в религии и находят ее, но находят разную. Людям первого рода она безразлична. Когда в XX веке привычные европейцам религиозные формы пришли в окончательный упадок, эти люди поспешили объявить, что религия изжила себя. «Прогресс ее упразднил». В самом деле: отчего не поверить в то, что наши предки верили потому, что были слабы, темны и испуганы? «Встречи со священным, — говорит историк религии, — искали именно в труднодоступных, темных и страшных местах». Темное и страшное, говорят эти люди, изгнано из нашей жизни. Искусственное освещение городов, видимость всезнания, создаваемая изобилием накопленных фактов, относительные безопасность и сытость — не уничтожают ли саму почву религии? Однако всезнание это призрачное, а неспособность испытать первичные, глубокие чувства, порождающие религию — временная и местная.

Дело не в том, что «Бог умер», а в том, что мы разучились испытывать непосредственные религиозные переживания, сдав свою веру в храм. Личная вера ушла в раскол и секту; ощущение чудесного — к спиритам и теософам. Приговор относился к формам, не к содержанию. Содержание — от века всё то же.

Религия есть внутренняя крепость, в которую никто не может войти. Отнять религию — значит отдать человека во власть внешних сил. Всё, что связывает с тем, что *не здесь и не сейчас*, делает нас сильнее. Это никак не противоречит тому, что одна из возможных (и широко распространенных) религий обращается к испуганному человеку, чтоб не сказать: испуганному ребенку. Но мы скажем об этом дальше.

Религия меняет личность коренным образом, и при этом не имеет целью ее совершенствование. Если эта цель и достигается, то опосредованно. Однако ей крайне небезразлично то, что происходит внутри этой личности. Религии важно всё, что личность делает с собой. Религиозное понимание вещей: «то, что со мной происходит и будет происходить, таинственно связано с тем, что я думаю, чувствую, делаю».

Противоположное мировоззрение придает важность только внешним вещам и их количественным измерениям (таково миропонимание революции и демократии). Чем сильнее в мире полупросвещение (иначе говоря, чем меньше просвещенных и чем больше «образованных»), тем дальше он от религии. Тип полуобразованного — самый враждебный традиции и религии тип. Ему не нужно прошлое, ему не нужны боги; всё его благосостояние — здесь и сейчас. Его легко соблазнить житейским благополучием или мировой революцией. Перед тем, как сделать первый шаг, он не спросит себя: нужно ли это моей душе?..

Однако старые религиозные формы уходят, это справедливо и неотменимо; уходит и тот склад мысли, который эти формы создал.

2. О христианском идеале

Вспомним, в чем была новизна учения, которое вошло в мир около двух тысяч лет назад и сейчас переживает свои сумерки. Конечно, не в обещании жизни вечной, как думают атеисты. Две, пожалуй, главные его особенности: обращение к внутреннему ребенку и беспочвенность, иначе называемая «всечеловечностью».

Обращение к ребенку внутри нас, к испуганному, потрясенному человеку было сильнейшей стороной новой веры. Нельзя сказать, что этого «потрясенного» или «испуганного» человека создало христианство. Нового человека вообще нельзя создать, это не под силу никакой революции. Можно только дать преобладание одному из уже существующих человеческих типов. Тип «испуганного человека» (христианский) или тип «полуобразованного» (советский) существовали и прежде, до того, как христианская и большевицкая революции дали им силу.

Не только проповедь, но и педагогический идеал новой веры лучше всего подходил для детей — или для варваров, кичащихся силой. В этой области он вполне плодотворен. Для взрослого члена высокоразвитого общества это идеал добровольной слабости, благонравного бесплодия. «Съ христіанской точки зрѣнія невозможна *акція, усиліе, прыжокъ, игра* въ сферѣ ли искусства, или литературы, или смѣха, гордости и проч.», как скажет чеканно Розанов. Мир — банкрот, в него незачем вкладывать средства... (В ответ на это нам могут указать на культуру в добросовестно христианском, т. е. средневековом, обществе. Ничего удивительного: Церковь принесла с собой зерна Старого мира, и они проросли.)

Вторая черта победившей религии: отказ от почвы. Христианин был тот, кто оставил все национальное. И сегодня христианство сильно, когда близко к своим корням, т. е. беспочвенно. Укореняясь, оно выцветает, становится ослабленным

язычеством — национальной религией. Христианин-патриот всегда язычник в своем отношении к государству. Данилевский верно говорит, что только в личных отношениях можно придерживаться христианской морали, государства и государственные отношения всегда языческие.

Христианство, «осевшее» на земле, — крепко, но не огнеопасно. Легко распространяются только беспочвенные его формы (отсюда сила протестантства). Как только христианин понимает, что у него есть дом и отечество, он делается православным или католиком, но не «странником и пришельцем». Кстати, обычное в литературе XIX века выражение «русский Бог» не так странно, как нам кажется. Оно выражает естественное, коренное религиозное сознание — к которому, сколько ни трудись, приходит всякая «всемирная вера».

Есть и третья коренная христианская черта: отталкивание от природы, как в смысле мира вокруг нас, так и в смысле внутренней сущности человека. Путь христианства: отступление в душу и оставление мира в забросе. «Се, оставляется мир ваш пуст», сказало оно. Источники, рощи, моря и горы — всё стало фоном для духа или средствами для него. «Насильственная» европейская цивилизация, всё природное покорившая и всё природное подрезавшая под самый корень, есть цивилизация понятого определенным образом «духа», то есть *внеприродности*.

Но главной новизной, которую христианство ввело в мир, было представление о единой истине, которая исключает все остальные. Прежде это была роскошь, доступная только философам и не оказывающая влияния на умственную жизнь. Теперь вера в единую, ревнивую, всепоглощающую истину вышла на улицы... Старый мир (у христианской революции тоже был свой *Старый мир*, так же ушедший на дно морское, как и русский, затопленный революцией) не выдержал столкновения с этой верой.

Упомянутый выше историк сказал об этом мире так:

«Человек должен лавировать между множеством требований и необходимостей; благочестие есть ум и „осторожность“. Как раз в этом, однако же, и состоит шанс политеизма охватить многообразие действительности, не закрывая глаза на противоречия и не будучи поставленным перед необходимостью усиленного отрицания какой-либо из ее частей. Человеку даже остается свободное пространство по ту сторону удовлетворенных требований; поэтому у греков закон и этика могли развиваться как человеческая «мудрость», независимо и одновременно в согласии с богом; высказывания мудрецов и закон высекались на стенах храмов и тем не менее всегда считались человеческим дерзанием, а не божественным откровением».

Это «свободное пространство» стремительно сократилось, а затем исчезло.

3. Мир частных истин

Новой вере противостоял, пока были силы, мир частных непринудительных истин. Разделение мнений в нем было естественно... Философы этого мира, правда, пришли уже к идеалу принудительной истины (вспомним платоновское «поэты изгоняются, оставшихся — лишим исторической памяти»), но применить его к жизни не сумели. И мир Ветхого завета был (в своем роде) веселым миром, где «бози мнози» состязались за душу человеческую. Здесь мы приходим к главному отличию «языческого» от «христианского», и это отличие совсем не в области морали.

Отличительная черта язычества — в свободном и заранее непредрешенном состязании образов мысли, образцов поведения, представлений о божественном. Народы живут раздельно, хотя эта раздельность не исключает взаимопроникновения идей. Очаги самобытного развития горят повсеместно, по временам слыша друг от друге и неторопливо обмениваясь влияниями... Только поздний Рим, как и нашу эпоху, отличало опасное ускорение обращения идей, когда ничто не переваривалось, но всё распространялось, — что и ускорило конец прежнего порядка. Сравнивая те дни с нынешними, нельзя не пожелать замедления распространения идей *без полной его остановки*. Газеты, радио, телевидение, все средства скорейшего смешения мнений — ускоряют не развитие, а разложение старого без производства нового.

Но главное в другом. Ценности прежнего мира были ценностями личными, или (шире) народными. Истина дается личности, народу, но никогда — «человечеству». И мы, если желаем человеку высшего личного развития, должны желать человечеству существования в виде мощных и самобытных народов (своего рода личностей-множеств). И то, говоря о народе, будем помнить, что он не «ищет и находит», но принимает найденное одиночками, когда ощущает с найденным родство: «мы так чувствовали, но сказать не умели, а он (художник, поэт) показал и сказал».

Дробность человечества — залог не только «заблуждений», как принято думать, но и поисков и приобретений. Пока оно не едино — никакие ошибки не окончательны, не гибельны, не всеобщи. Единый для всех путь означает единые для всех заблуждения и общий для всех провал. «Единая истина» гибельна — не как действующая в мире сила, а как единственно разрешенное ее понимание. Дела промышленные и торговые легче и удобнее всего, когда у сторон единые меры и ценности, а вот развитие личностей и народов лучше всего, когда они самобытны (что не исключает влияний).

Какое отношение, — могут нас спросить, — всё это имеет к настоящему положению дел? Противостояние вселенской веры и частных истин не так «несовременно», как может показаться. Важнейший вопрос сегодня — как сохранить независимость народов и личностей под давлением очередной вселенской веры: единственного, не терпящего соперников понимания истины. Сколько мы уже видели «единственно-верных мировоззрений»!

Важнейший вопрос современности — защита личности от поглощения приверженной «единой истине» толпой. Вглядываться в умственную жизнь языческого мира — занятие совсем не лишнее и отнюдь не академическое. Конечно, говоря о превосходстве духовной жизни, основанной на состязании частных истин, я не держу в мыслях буквального возвращение к прежним ее формам. В области мысли не может быть движения назад; может быть только поиск в прошедшем точки, с которой можно было бы начать новое движение вперед.

Обязанностей по отношению к собственной душе, требований внутренней собранности и ясности никакая перемена образа мысли *не отменяет*. В мире постоянного принуждения к вере, подавляющего и ревнивого авторитета то «партии», то «науки» — эти требования становятся еще более настоятельными, чем были в «мирные» времена. Человек должен быть самостоятелен. Человек должен уметь быть один. Человек должен сохранять ясность мышления, чуткость сердца и свободу от принудительных истин...

4. Умение быть одному

Дойдя до вопроса о воспитании личности (то есть, в корне его — о самовоспитании), мы дошли и до возможного возражения: «Зачем быть человеком, в особенности — высокоразвитым человеком? Не много ли издержек ради сомнительных прибылей? Зачем нам высокоразвитая личность и что с ней делать? Не лучше ли стремиться к простоте и пользе, воспитать работника или дельца? Мир будет его меньше ранить и больше радовать...»

Попробую вкратце на эти возражения ответить.

В первую очередь, воспитание и самовоспитание определяют, с кем вы будете жить. А жить вы, в самом ближайшем смысле, будете не с людьми, а с самим собой, с собственной душой. Весь мир, даже божественное в нем — дается человеку только через образ его души. (Да: все, что мы знаем о богах, мы знаем изнутри и через себя. Среда богоявления — душа человека. Все внешнее — только ключи к тайне, разгадываемой сообразно опыту внутренней жизни. «Писания» — для не имеющих внутреннего откровения, *чувства Бога*.)

Один из доступных нашему пониманию смыслов жизни в том, чтобы вопреки обстоятельствам построить прекрасного и сложного себя. «Я» — единственная

безусловная ценность. Все остальное сомнительно, временно, неустойчиво. Конечно, и личность ограничена во времени; чтобы увидеть ее ценность, нужна вера в бессмертие души. Без этой веры наши усилия напрасны.

Внутренняя сложность подразумевает и внутренний свет, т. е. самопонимание и прозрачность. Однако обязанности личности по отношению к себе не только интеллектуальные, но и нравственные. Постоянная бодрость, радостная готовность жить — тоже относятся к внутреннему свету.

Упрощение и утилитаризм, «простота» и «польза» — губительны для личного развития. Перед личностью надо ставить задачи выше ее сил. Упрощение учит стремиться к несложному. Так же и «польза». Все высшее «бесполезно» в ближайшем смысле: ум и чувство не засолить на зиму.

Утилитарное мышление и на это имеет ответ: «пока богатые занимаются развитием личности, бедные... Накормите голодного, и тогда...» И тогда — что? Как ни странно, на это требование ответили уже бр. Стругацкие (вообще-то не очень прозорливые): «Пока он был голоден, он думал только о еде, когда он насыщался, он вообще ни о чем не думал». Развитие личности — вопрос ценностей, а не сытости. Ценности приходят *до и независимо* от голода или насыщения. А сытость... западные народы сыты, и давно; много ли пользы это дало их уму?

Да, развитие личности не общедоступно, это скорее роскошь. Любой идеал личного развития — аристократический. Идеал вообще аристократичен или его нет. «Будь как все!», «Ты что, самый умный, что ли?» — эти советские премудрости выражают идеал без отбора, какой может быть у толпы. Ценность его чисто отрицательная, цель — опрощение и потеря всего отличающе-личного.

Для воплощения положительного идеала — нужны аристократические ценности, ценности сложности и *внутреннего* богатства. Людям нужно смотреть вверх и видеть нечто привлекательное, манящее, нечто такое, чем они со временем могли бы стать, к чему могли бы приобщиться. «Расторопный служащий», весело работающий и весело тратящий заработанное (идеал «демократии») или угрюмый «слуга Партии», восклицающий: «Скорей бы понедельник, и снова на работу!» (идеал большевизма) не могут утолить эту жажду приобщения к высшему.

Кстати говоря: так ли ценны для усложнения личности внешние и поверхностные формы культурности, на которые так уповали в советские времена (посещение театров, картинных галерей)?.. Сами по себе — не очень, т. к. личности ничего не дают. В зрелищах человек или находит развлечение (что иногда необходимо) — или себя самого. Последнее ценно, но для этого надо, чтобы было, что́ находить. Ради этого прежде всяких зрелищ надо образовать личность — не

в смысле «образования среднего и высшего», а в смысле лепки, придания образа бесформенным, ненаправленным силам.

Надо признать, что Россия никогда не создаст культуры, способной покорить мыслящих и чувствующих людей в других народах, пока не вернется на путь внутреннего усложнения и самоограничения для немногих, аристократический путь. Либеральное наводнение снесло последние вехи и грозит уничтожить саму идею сложности, ответственности, внутреннего богатства и религиозной душевной жизни.

Самовыражения! — кричит немыслящая толпа. Тогда как в ядре искусства не «самовыражение», а самовоспитание и состязание с лучшими. Отбирая у искусства идею лучшего, мы его лишаем цели. У нас в России корни искусства как состязания вообще неглубоки; старая Русь, до-романовская, знала самовоспитание в молчании, в искусстве же видела только религиозную сторону, т. е. служение...

И все это «самовыражение» сводится к зову пола, предпочтительно — в извращенных, т. е. более пряных формах. Сделать зов пола не содержанием произведений, а частью почвы, из которой рождается осознанное творчество, эта немыслящая масса неспособна, т. к. отвыкла от самой мысли об ответственном (не перед «партией», а перед собственной душой) творческом труде. Не говорю уже о гнетущем влиянии полупросвещения, в среде которого ценятся только мысли о чужих мыслях, а чаще — технических приемах (запятые у Гоголя, причастные обороты у Пушкина)...

Выше мы говорили о том, что самовоспитание определяет, с кем вам придется прожить жизнь. Ведь ближайший, постоянно присутствующий в нашей жизни человек — это мы сами. Признак высшей личности — способность переносить одиночество; «ему не скучно с самим собой» — другой способ сказать о внутреннем богатстве. Высшая личность сама себе мир, и друг, и свет... до известной степени.

Уточним, чтобы не было недоразумений: высший человек, в силу воспитания и привычки к внутреннему труду, получает доступ к определенным благам, иначе недоступным. Это не значит, что он «слышит голоса»; по меньшей мере, не буквально. И в то же время — да, он слышит в себе и в мире гораздо больше, чем тот, кого не научили жить с самим собой и самим собой. Высший человек из одиночества выносит свет.

На это нам говорят: «Теперь такие потребности, у человека нет времени на саморазвитие». Мы на это должны спокойно ответить: «Неважно, чем вы оправ-

дываете одичание. Важны его плоды. Требования к высшему человеку неизменны. Если вы не хотите их исполнять, не удивляйтесь последствиям». А последствия будут непременно. Не может общество без лестницы постепенно усложняющихся потребностей — чем сложнее, тем меньше ищущих, но тем важнее их труд. Общество оправдывается и прочно бывает — по своим высшим.

XIX. «Левое» как отзвук религиозного

«У просвещенного человека не может быть религии», такое или почти такое мнение господствует сейчас в Европе. В то же время украшением и обязанностью европейца являются левые, то есть «передовые», политические взгляды. Распространенность этих взглядов соперничает с распространенностью христианства в прежней Европе и не может не беспокоить внимательного наблюдателя: точно ли речь идет о разумно выбранных, разумно обоснованных, вытекающих из понимания сути вещей мнениях?..

Сергей Булгаков более 100 лет назад говорил:

«Народныя массы, которыя и въ наиболѣе культурныхъ странахъ, конечно, ни по образу жизни, ни по подготовкѣ своей не могутъ усвоить соціализмъ, какъ научную доктрину, опирающуюся на научную аргументацію, принимаютъ его как новую вѣру, новую религію, призванную замѣнить и устранить старую, христіанскую. Такимъ образомъ, передъ нами происходитъ борьба двухъ вѣръ, столкновеніе двух религій».

Уже тогда внимательный наблюдатель видел в социализме соперника христианства, а в Марксе — составителя современного Апокалипсиса со всеми его ужасами и пророчествами.

С появлением новых политических поветрий, которым классический социализм на наших глазах уступает, тот же наблюдатель не может не заметить, что содержание учений, цели, представление о «мировом зле» — меняются, однако внутреннее душевное устройство, если можно так говорить о массовом движении, остается неизменным, и по-прежнему напоминает внутреннее устройство религии, причем не религии «вообще», а определенной ее разновидности. Назовем эту разновидность «пророческой» или «этической».

***

Раз уж мы заговорили о «правом» и «левом», скажем кратко об их различии. «Левое» обращено к будущему, не ценит настоящего и уж тем более не видит доброго в прошлом. «Правое» ценит прошлое, одобряет настоящее при условии его верности прошлому и не стремится к переменам ради перемен. Разрушение ненавистно «правым» и греет сердце «левых». Заметим еще, что победившие «левые» становятся охранителями, сохраняя манеру выражаться, свойственную разрушителям.

Человек «левых» взглядов видит в мировом порядке нечто неправильное, ложное, не нравственное; нечто такое, что должно быть устранено и заменено *пра-*

вильным, нравственным. «Левое» мировоззрение есть в первую очередь мировоззрение этическое. Если даже человек передовых взглядов говорит о «классах и массах», речь идет в первую очередь о нравственном и безнравственном. Противники у «левых» — не просто политические противники, но те, кто вызывает *моральное негодование*. В своей политической проповеди они всегда обращаются к страстям; сторонников находят скорее среди «неравнодушных», т. е. увлекающихся, чем среди рассудительных...

***

Это мировоззрение в наши дни неотделимо от «активизма». В очерке «Активизм и религия» я говорил:

«Привнесение возбуждения в массы — дело нетрудное и всегда могущее быть повторенным, был бы только класс относительно образованных и достаточно свободных людей, подчинивших свои умы той или иной спасительной идее, т. е. такому набору ценностей, который следует любой ценой навязать обществу ради его же блага. Этих людей можно назвать „политическими активистами“ (прошу прощения за птичье слово), а их мировоззрение — „активизмом“. Активизм существует (во всяком случае, зародился) только в христианском мире, и каким-то образом дополняет христианство и одновременно отталкивается от него».

«Левое» миропонимание — запас мыслей и чувств, унаследованный от пророческой (или этической) религии, помноженной на упомянутый выше активизм, то есть на *упразднение надежды*, сила которой прежде сдерживала людские чаяния в промежутках между революциями, откладывая их на неопределенное будущее. Вдохновляющая «левых» пророческая религия есть насыщенная ожиданиями всеобщего переворота (а впоследствии — установления нового, небывалого порядка вещей) религия Библии, вернее, *одна* из религий, скрытых в этой книге. (Причина цепкости, приспособляемости христианства — в его многосоставности, внутренней несвязности. Учение о мире как разумном предприятии во главе с мудрым Хозяином никак не связано с учением о падении сильных и возвышении слабых. Более того, в новейшие времена наследники *второго* учения ни с чем не враждуют так яростно, как с этим *первым*.)

О мировоззрении, которое можно назвать «пророческим», лучше всего говорят следующие места из христианского Писания:

«Ибо <грядет> день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, — и оно будет унижено, — и на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся

холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли Фарсисские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут» (Ис. 2:12-18).

«Я накажу мир за зло, и нечестивых — за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей» (Ис. 13:11).

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. <...> И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Откр. 21:1,5).

Это, если задуматься, всеразлагающая кислота: идущее от пророков учение о «сильных, которые будут унижены», о «горах, которые уравняются с долинами». Удивительно, что на книге такого духа основалась самая твердая в мире власть: власть Церкви. Долгое время это учение о торжестве правды и падении сильных обессиливалось, уравновешивалось силой надежды, откладывающей всякие перемены на неопределенное «завтра», если не на будущую жизнь; однако теперь сила надежды иссякла... Об этом мы будем говорить дальше.

Сама возможность политической «левизны» дана Библией. «Левое» мышление есть мышление религиозное, библейское, пророческое. Набор понятий, определяющих «левую» мысль, взят из Писания. Вера в «прогресс» есть этический монотеизм, примененный к истории. «История, — не говорит, но подразумевает «передовое мировоззрение», — есть предельная справедливость, то есть Бог». Прогресс — божество, низводящее сильных и возводящее слабых. В поиске все новых «слабых» — смысл «левого» движения в XX и XXI веках.

***

Моральное (или пророческое) мировоззрение с неизбежностью насаждает веру в единую истину, с одной стороны, и морализирующее мышление — с другой. С точки зрения морали не может быть двух суждений об одной вещи. Поступок или нравствен, или безнравствен; если один прав, то другой виноват. Кто неправо судит о нравственном или безнравственном, тот *сам не нравствен*. Верность суждения заменяется его соответствием господствующей морали, а глубина мысли — силой морального негодования.

Противоположностью Единой Истине и моральному мышлению является философия. У народа могут быть или философы, или пророки, но, как правило, не те и другие вместе. Философия — поиск тонких связей между вещами; пророчество — уединенное знание единственной истины. Соблазнительна мысль, что тут проявляется отличие путей разума от путей веры, однако, во-первых, и фи-

лософа, и пророка образует принятое в его обществе представление о Невидимом, и во-вторых, мировоззрение, которое можно назвать «пророческим», свойственно не религии вообще, а только определенной ее разновидности.

Или философия, или «универсальная истина»... Там, где есть философия — истины *частные*; речь идет не о поиске единой и последней, но о выработке правильного мышления. Универсальная истина означает изгнание не только поэтов (как это обещал Платон в своем «Государстве»), но и философов. Там, где есть единая и последняя истина, нет нужды в правильном мышлении, но только в мышлении «нравственном» (или, говоря языком новейшего времени, «политически правильном»).

Философ не занимается оценочными суждениями, в то время как пророка они занимают по преимуществу. Одному важен смысл вещей, другому их ценность и, более того, оправданность, причем с точки зрения *сверхчеловеческой*. Пророческие суждения — суждения с точки зрения Бога. Философ судит о вещах, глядя на них снизу — не сверху.

Единая и всепригодная истина должна быть применена ко всему миру, иначе ее всепригодность окажется под сомнением. Поле применения такой истины должно бесконечно расширяться. Универсализм неизбежно выходит в завоевательный поход против мира. Бесспорно, вначале он дает жизни некоторые смягчающие поправки, но в качестве руководящей идеи оказывается разрушителен. Последовательно примененный к жизни универсализм дает опрощение и толстовство, «кающихся дворян» и «кающихся белых мужчин».... Ведь истина только одна, и перед ней следует разоружиться.

Живая жизнь хочет иметь отличия. Воспроизводимые личные отличия создают культуру. Универсализм борется против живой жизни. Он хочет слить горячее и холодное в единую теплую массу. Живая жизнь хочет иметь разных богов, и народы (культуры), и сословия — универсализм говорит: «нет эллина, ни иудея».

Напомню, что я писал об этом в «Очерках о культуре»:

«*Культуру производит желание обладать постоянными и воспроизводимыми отличиями*. Там, где человек не отличается от человека ничем, кроме природных различий, культуры нет. Чтобы она появилась, необходимо желание быть особенным. Этого может желать отдельная личность или целое общество, и там, где мы видим устойчивую и воспроизводимую непохожесть, мы видим культуру. Эта непохожесть может быть свойственна определенному классу лиц; или определенному обществу; или целой стране — в действительности множество „непохожестей“ налагается друг на друга, определяя лицо стран и народов. Где нет различий, нет культуры».

Живая жизнь хочет мужчину и женщину — новейший универсализм проповедует обоеполое «оно». Пафос, вдохновляющий проповедников обоеполости, есть тот же, что вдохновлял ап. Павла — пафос всеслияния. Однако живая жизнь вся — в особности, отличиях, границах. Христианская революция не смогла остановить накопления отличий (частных культурных ценностей) в Европе. Она дала однократное смешение, сначала даже плодотворное, затем накопление отличий, то есть культуры, продолжилось...

Важно понимать, что борьба против понятия нормы, поскольку ее ведет поколение, воспитанное христианством, т. е. *пророческим мировоззрением*, есть борьба за новую «единую истину». Речи о «многообразии» — только прикрытие и дань идущей от Дж. Ст. Милля традиции; по существу речь идет об утверждении новой нормы, исключающей остальные, причем нормы суровой, ничего не прощающей тем, кто не готов ее принять.

***

Но вернемся к происхождению «левого» мировоззрения. Выше мы сказали, что надежды на великие перемены, на суд над миром в его нынешнем состоянии, на «новую жизнь» уравновешивались в течение христианских веков постоянно откладывающей исполнение этих обещаний *надеждой*.

«Философия надежды» есть *философия ожидания*. «Ждущий дождется», говорит она. Однако опыт чаще убеждает нас в том, что именно ждущий и не дождется; что ожидание как-то противно жизни... Христианство способствовало народному долготерпению, но и накоплению в обществе тайных сил ожидания, которые однажды выплескиваются на поверхность, требуя себе исполнения. Европейские революции суть явления христианской психологии, пусть и отрицательно-разрушительные по своим последствиям.

Если Старый мир был амальгамой разнородных влияний (и потому невосстановим), то амальгамой было и христианство. Напор разрушительных чаяний («день Господень... на всякую башню высокую») удерживался мыслью о том, что все это будет «на новой земле, под новым небом»), или хотя бы когда-то «потом». Сила этого бесконечного, тысячелетнего «потом» иссякла...

Что осталось от напряженно-этической, болезненно ощущающей всякую «неправду», истинную или придуманную, религии, когда лопнули скрепы надежды и желание перемен излилось в земную жизнь? Вместе с надеждой ушли и мысли о посмертной судьбе души; поскольку общим местом стало, что посмертие есть воздаяние за этическое поведение, произвол судящего божества («мне не нужно спасение, мне нужна истина!» — сказал об этом Тургенев), с уходом надежды

закрылся и этот горизонт. Однако самооценка через праведность, т. е. одобряемые этикой, откуда бы она ни бралась, поступки — никуда не исчезла. Весь пыл спасения души человек эпохи массовых моральных движений вкладывает в «политически правильные» поступки.

Мировоззрение, основной частью которого является моральное негодование по поводу тех или иных вещей, легко обмирщается, сохраняя все исходные черты этической религии *без самой религии*. Уже Диккенс в «Пиквикском Клубе» показывает внерелигиозную секту — Объединенное Великое Эбенизерское Общество Трезвости.

Поэтому противостояние «правого» и «левого» есть *внутрихристианское* разделение и вне христианского мира не существует (а если существует, то только как явление завозное, местной почвы не имеющее). Что же касается вражды «левых» к христианству — это соперничество секты с породившей ее церковью. Всякий малый осколок «единой истины» хочет сам стать единой истиной. Социализм исключает христианскую веру не по капризу, а по своему существу: нельзя верить сразу в две *исключительные истины*. Как только социалист заявляет, что *Religion ist Privatsache* [16], он перестает быть настоящим социалистом.

Когда европейская Церковь спрятала Библию в ларец чужого языка, она тем самым выиграла время. Потрясения были отложены до перевода Писания на общепонятный язык. Когда этот ларец или чехол разрушился, пророческое мировоззрение вышло в мир. Как показал опыт, желание «дальнейшего рассвобождения» сильнее желания пользоваться разумной свободой. Тут даже не желание — страсть... С тех самых пор, с начала времени революций, уравнительное мировоззрение ищет, кого бы еще освободить. Среди его последовательно сменявших одна другую целей: третье сословие, пролетариат, угнетенные народы, личности с затрудненным половым самоопределением... Кризис, который переживает сегодня Запад — религиозный по происхождению. Его вдохновляет все тот же пафос уравнения гор и долин, библейский пафос.

***

Христианский переворот (победа христианства в Римской империи, а затем и за ее пределами) — первый пример революции, вдохновленной пророческим мировоззрением, но не последний. Новейшая и прямая параллель к христианской революции есть революция русская, при всей противоположности ее целей. Жар, страсть обеих — во вражде к прошлому, ко всему многообразию прежде бывшей культуры. И несмотря на последовательное применение уравнительных идей,

[16] «Религия есть частное дело».

каждая следующая революция в христианском мире оказывается недостаточной: еще не все уравнено!

Революция требует «свободы от» (идолов, рабства страстям, ига капитала) и уничтожает «свободу для», потому что эта последняя нуждается в частной жизни, особности, независимости, *малых богах*. Единая истина ревнива: «да не будет богов, кроме Меня». Плод революции — уничтожение частной жизни. Великая идея не терпит состязания. Леонтьев напрасно восхищался византийскими принцессами, обсуждающими богословские вопросы. Это так же неестественно, как упомянутое Мандельштамом «вся страна только и говорит о том, как выполнить пятилетку в три года». Великая идея начинает с того, что отнимает у личности дом, независимость, гонит ее на службу. Подавление личного своеобразия — ключ к власти. Революция хочет власти над личностью в гораздо большей степени, чем правители, которых она свергает. Идея не человек — человек слаб, ленив и иногда добродушен; идее нужно *все*.

Кого именно освобождать и «уравнивать» с сильными — для людей, охваченных моральным пафосом, не так уже и важно. Этот пафос возгорается, по каким-то скрытым от глаз законам, в трудные времена, когда личность теряет опору, причем возгорается именно в христианских или *когда-то* христианских странах. Восток с удивлением смотрит на все новые и новые волны «уравнения», идущие по Европе. Даже там, где Азия испытала прямое влияние социализма, вплоть до переворотов и установления «нового порядка», это влияние оказалось очень поверхностным.

Дух всеобщего уравнения — не «буржуазный», как думал боровшийся с ним Леонтьев, но библейский. Знамя его поднималось не раз до появления буржуазии, а после перешло к «пролетариату» (вернее, его представителям), теперь его поднимают защитники «меньшинств». В то же время на протяжении всей истории христианской Европы начало разделения, обособления, культуро-рождающее начало — было нехристианским по своему происхождению (языческим, рыцарским, национальным). Универсализм желал слить все ручьи в едином море — ручьи упрямо разливались.

Европо-американский мир переживает сегодня новый натиск универсализма. Единая Истина у дверей, и не одна, а две сразу: в спину новому превращению «левой» идеи дышит ислам. Сам по себе он — не великая угроза. Рожденный как отрицание христианства, его «очищенная», реформированная разновидность — теперь, когда христианство увядает, он потерял смысл жизни. Так протестантство потеряло смысл после выцветания папства, а либеральный Запад — после падения большевизма в России...

Не ислам силен, но Европа слаба. На наших глазах происходит разложение и выветривание христианства, с превращением остатков его религиозной энергии во всё новые оттенки «левого». Разложение христианства принимает отталкивающие формы, но не будем забывать, на него глядя, что христианство было (пусть и плодотворным) насилием над душой, «игом и бременем», и что из-под этого ига выходит не твердая и собранная личность человека античности, но расслабленная и потерявшая вехи... Целые слои воспитания (и лицемерия) сходят с человека и общества, а под ними — пусто́ты. Вызов, главная трудность минуты — чтобы дряблый, расслабленный современный европо-американец не оказался под бременем новой «единой истины».

Силы и понимания смысла событий не будет, пока мы не выйдем сознательно из христианской эпохи. Она не вернется, как бы ни хотелось нам обратного. Но выйти непросто. Для этого мало вывернуть христианские ценности наизнанку (как думают многие) или просто отказаться от почитания святых, или икон, или даже единобожия. Нужно нечто гораздо более трудное: изменить наши мнения о божественном. Консерватизм в качестве сохранения и восстановления ценностей прошедшей великой эпохи — практически полезен, но недостаточен для решения новых культурных задач. Культурный консерватизм наших дней должен быть *о будущем*, не о прошлом. А сейчас, к сожалению, разложение борется с попытками или сохранить негодное, или оживить отдельное взятые части прошлого, без других частей нежизнеспособные.

XX. «Справедливость сейчас»

> «Въ такую патологическую эпоху разложенія, воображающаго себя развитіемъ, слово „сумасшедшій“ ничего не опредѣляетъ. Предоставляя это слово в распоряженіе желающихъ, гораздо полезнѣе постараться выяснить себѣ, въ чемъ собственно состоитъ *ненормальность*, такъ легко охватывающая цѣлыя массы, а въ том числѣ людей, несомнѣнно, очень умных и талантливыхъ».
>
> *Лев Тихомиров*

Продолжим разговор о мировоззрении, которое можно назвать «всеобъемлющим морализмом». Вопрос это широкий. Все европейские события последних 150 лет непосредственно связаны с превращениями «этического мировоззрения», то есть с борьбой христианства и обмирщенной его разновидности: *социализма*.

Социализм есть мораль, примененная к неморальным вопросам. Наиболее недоверие у социалиста вызывает *сила*. Сильная власть ему так же противна, как сильная личность. То и другое нужно повергнуть. Предпочтение простому и слабому перед богатым и сильным — характеристика этической религии и социализма. Всякая сила должна быть развенчана, всякое преимущество уничтожено.

В этой борьбе социалист не просто на стороне слабых и неблагополучных — он их ищет и воспитывает. Не зря в социализме всех видов важнейшее слово — «организация». Его равно любили классовые и национальные социалисты. «Массы» нужно «организовать». Где овцы, там пастыри.

Воспитательные усилия социализма в западном мире вырастили поколение, неспособное к нападению и защите. Душевное равновесие этих людей нужно без устали охранять. Адвокат нужен им больше, чем духовник, потому что свои внутренние терзания они несут не на исповедь, а в суд. Сказав, что люди эти неспособны к нападению и защите, я неверно выразился: *нападение* — их естественная склонность. Моралисты всегда пеклись о «вдовах и сиротах», однако в действительной жизни люди с умами и душами «вдов и сирот» более всего склонны к нападению, надо только собрать их и вооружить.

«Вдова и сирота» — не общественное состояние, но душевный склад. «Вдовой и сиротой» можно себя почувствовать; самоощущение «вдовы и сироты» можно передать другим. Корень его — в ощущении зависимости от враждебных сил (сатаны, царя, евреев, белых мужчин). Человек с умоначертанием «вдовы и сироты» не верит, что мир дан ему богами как поприще, что удача и твердость его помощники; он знает, что у всего дурного, темного, неудачного есть виновник, и этот виновник *не он*. [17]

«Левое» борется не только против *силы*. Его программа шире. Социализм хочет, чтобы не было отличий. *Отличия — признак гордости*. Надо заметить, что «левый» ненавидит «всякую высокую башню, и все дубы васанские, и все корабли фарсисские» — всё возвышающееся над средним уровнем, — однако гордится, что входит в особый круг: «сынов света», «борцов», «честных и смелых». Претит только чужая «избранность», не своя собственная.

Итак, моралист не доверяет силе. Сила ищет радости, а радость неморальна по существу своему. И потому, что не разбирает причин, и потому, что радуется несмотря на страдания вокруг, в том числе и свои собственные — недавние или будущие. Тем более не доверяет он *государству*.

Ненависть к государству неизбежна в людях, воспитанных на отвращении ко всякой силе: «всякой башне высокой, и всем дубам васанским, и всем кораблям фарсисским». Однако государство *или сила, или нет его*. Для того, кто добросовестно воспринял уроки этической религии, само существование государства оскорбительно. Мудрый Данилевский говорил, что христианская мораль хороша только в личных отношениях, государство — всегда языческое. Не разделяя этой мудрости, русская интеллигенция желала и желает своему государству исчезновения. Разумеется, государство исчезнуть не может; может — только стать из *более* благоустроенного *менее* благоустроенным, что история не раз и доказывала. Конечно, пока христианство цельно и внутренние связи его не разорваны, это недоверие к силе связывается другими духами: привычкой к покорности и верностью установленному порядку.

***

Попыток найти в Христе зелота, социального революционера, было так много потому, что «социального» в иудаизме и в нарождающемся христианстве — более чем достаточно. Библии хватит для хорошей революции, и не одной. Однако

[17] И тут мы подходим к дьяволу — этому великому христианскому изобретению... Дьявол — способ справиться с иррациональным в человеке. *Непонимаемому мы даем имя и полагаем его вовне*. Люди всегда так поступают. Тот же «Естественный отбор» не действительнее «дьявола», просто вера в него не так важна для личности.

само по себе этическое мировоззрение, в его библейской разновидности, революции не делает. Вера в «свет, в котором нет никакой тьмы», безопасна до тех пор, пока отвлеченна. Как только человек выносит ее из мира отвлеченностей на улицу, он из христианина (читай: человека *этического мировоззрения*) делается социалистом.

В историческом христианстве, как мы уже говорили, мечты о «справедливости» уравновешивались консервативными составляющими, а отчасти откладывались на будущую жизнь. По мере разложения христианства, жажда «справедливости» высвобождается все больше и больше, побуждая народы требовать все более и более бессмысленных вещей, и требовать их сегодня.

Я упоминал выше «силы ожидания», которые копятся в «резервуаре этического» на протяжении долгого времени, пока не вызовут в нем бурю. В спокойные времена резервуар этического и сам спокоен. Его охлаждает мысль о торжестве справедливости когда-нибудь «потом». Во времена неспокойные в нем поднимается буря. Справедливости хочется сегодня, сейчас. Разумеется, больше ее не становится, совсем наоборот. Мир, в котором верят в «справедливость потом», как правило, лучше мира, в котором требуют ее *сейчас*.

Этическое мировоззрение устойчиво лишь до известного предела. Чрезмерные морализующие усилия вызывают отторжение. Приходит поколение неверующих, с яростью отвергает веру отцов и с той же яростью вырабатывает новую мораль, *чтобы ей опять поклониться*. Этическое мировоззрение склонно к самоуглублению и, если так можно сказать, к пожиранию предыдущих поколений последующими. Люди, воспитанные Церковью в непререкаемо-этическом духе, начинают ненавидеть Церковь; воспитанные в том же самом духе революцией — начинают ненавидеть революцию (и по понятному, но оттого не менее странному недоразумению сравнивают себя с ее великими противниками, которые не от избытка революционной морали взбунтовались — а из верности Старому миру, который был *шире морали*, ей противостояли). [18]

Итак, социализм и есть та сила, которая требует «справедливости сейчас». Смысл социализма в изъятии народов из современности и насильственном их приобщении к *«будущему»*. Кстати, чеховские герои, вздыхающие о «небе в алмазах» — типично левые мечтатели: достойно и нравственно для них только будущее, настоящее не стоит внимания. О прошлом и говорить не приходится: там нет ничего ценного. Иными словами, социализм есть учение о том, как жить

[18] Конечно же, надо сказать и подчеркнуть, что христианство, *пока оно религия* — шире морали. Как только границы религии и морали в христианстве совпадают — ждите прихода безбожного поколения.

без прошлого, одним будущим. Здесь причины его обаяния. Будущее — ходкий товар... Неудивительно, что оба социализма (классовый и национальный) обращались со своей проповедью прежде всего к молодым. [19]

С. Булгаков в очерке «Апокалиптика и социализм» говорит, что корни философии прогресса, предлагаемой марксизмом, можно проследить до старинных апокалипсисов с их верой в то, что мир идет к наибольшему напряжению сил между Добром и Злом и, через их последнее и решающее столкновение — к новому, небывалому состоянию. В своем новейшем изводе это представление породило веру в *справедливость истории*.

Совершившееся принято считать единственно возможным и, больше того, разумно и с неизбежностью вытекающим из прошедшего. Это не так. «Совершается», и достаточно случайным образом, одна возможность из множества. Никакого особенного смысла *именно в этой* возможности нет, кроме того, что ей удалось проскользнуть из мира предположений в мир вещей. Она ничем не «обусловлена»; она просто *воплотима* при наличных условиях. *«Действительное» достаточно безумно и могло бы быть совершенно иным*. Вера в разумность, целенаправленность развития свойственна как «левому» мышлению, так и мышлению «пророческому». Оба видят в мире Замысел, только в одном случае это замысел, способный к самовоплощению, а во втором — нет.

Из веры в то, что все вновь появляющееся нравственнее, выше, оправданнее прежнего, следует предпочтение всегда и во всем *новизны*. Быть старым безнравственно. Разумеется, эта вера не напрямую связана с верой в разумное поступательное развитие, но связь идей несомненна. «Если всякая новизна в мире оказывается лучше старины, не ускорить ли ход истории, чтобы раньше и вернее получить самое лучшее?» Отсюда же вера в нравственное превосходство будущего над прошлым.

В конце 1920-х гг. Вл. Ходасевич говорил:

«Если передъ современностью мы раболѣпствуемъ, если не смѣемъ открыто предпочесть прошлое, то уж передъ будущимъ мы давно привыкли испытывать умиленно-трусливую оторопь. Собственными глазами видали, какъ не раз въ исторіи лучшее смѣнялось худшимъ, но никакъ не осмѣливаемся допустить, что нѣчто подобное могутъ

[19] Один из социализмов был пожран другим. Нимало не желая оправдания национального социализма, надо сказать, что нервом его тоже была мораль, а поприщем — борьба с «мировым злом». Нелепо верить, будто национальный социализм проповедовал аморальность. Напротив, он (точно так же, как социализм классовый) постоянно прихорашивался перед зеркалом морали. Весь пафос «нового порядка» был в противодействии растлевающему влиянию — евреев, англо-саксов, большевиков. Никто и никому не предлагал потерю образа человеческого в качестве цели — она приходила сама как неизбежное следствие борьбы с «мировым злом». Нам, русским, это не следует забывать.

совершить и наши потомки. Всякій «носитель будущаго», кто бы онъ ни былъ, окруженъ для насъ нѣкіимъ ореоломъ, къ его неопытному слову мы почитаемъ долгомъ прислушаться съ особымъ вниманіемъ. Вопроса о томъ, не несетъ ли онъ на смѣну несладкой современности (главное — знаемъ, что несладкой, но все еще «прислушиваемся къ ея могучему голосу!») — не несетъ ли он нѣчто вовсе дрянное, — такого вопроса и подымать не принято. Мы готовы лелѣять всѣ «всходы», даже не спрашивая себя: а ну, какъ всходятъ-то плевелы?»

Будущее, однако, может быть сколь угодно ниже настоящего, а настоящее — прошлого.

***

Итак, при всех сходствах социализма и христианства между ними есть большое отличие. Христианство воспитывало терпение, откладывая «справедливость» на потом. Социализм поощряет *нетерпение*, и потому обращается к молодости, всегда недовольной и желающей перемен. Если церковное христианство все «о старцах», то социализм — *о молодых*; здесь он смыкается с ранним христианством, привлекавшем женщин, молодых людей и рабов...

Кстати говоря, любопытно пристрастие христианского мира к образу «старца», вплоть до простодушного русского «в бороде — подобие Божие». Настоящий культ зрелости! Полная противоположность культу молодости и силы в старой греческой религии. В добросовестно устроенном мире *христианского образца* молодость только терпима, в качестве временного недостатка. Не случайно заигрывающий с молодостью социализм имел такой успех. Нынешнее заискиванье вкусов и мод перед подростком — плата за долговременное пренебрежение молодостью в христианскую эру. *На место старцев пришли дети*.

Вообще надо сказать, что мы (народы когда-то христианского мира) пока что не развиваем новые духовные способности, но платим по счетам предыдущей эпохи. Наши дни — не дни нового творческого развития. Жизнь чувствует, что формообразующее давление старой силы (христианства) ушло, и вырабатывает в избытке то, что прежде подавлялось. Это относится к культу молодости и к отношениям полов в первую очередь. Никакого ума и творчества за этими инстинктивными движениями, к сожалению, нет.

Мы переживаем не «сумерки гуманизма», понятого как самобожие — как думал, например, С. Л. Франк. И тем более речь не идет о победе «мирового зла». Мы наблюдаем разложение христианства. Все шаткое, неустойчивое, всё, что было основано на плодотворном насилии над личностью — проваливается... Мы переживаем закат морализующего понимания божественного; того *священного*,

к которому подмешано «святое» (т. е. представление о нравственной безупречности).

Есть немало пророков «нового миропонимания», которое, по их мнению, должно заменить христианство. Из любого одобряемого ими мнения эти пророки делают предмет поклонения, и отвергают как ересь всякое мнение, которое не могут разделить. Даже когда они ссылаются на разум, их питает моральное негодование. Эти «антихристиане» — по существу, люди старого этического чекана, люди Единой Истины. Едва ли по-настоящему новое миропонимание придет от них. Сменить прежнее мировоззрение может только новая философия жизни.

Настоящая противоположность этическому мировоззрению, мировоззрению Единой Истины называется «язычеством», как бы ни было смутно это слово. Языческая религия предполагает определенный покой. Человек в общении с богами не потому, что «ополчился против духов злобы поднебесной» или испытал потрясение. Его боги — часть мира, такая же, как земля, или небо, или мы сами. В них нельзя «уверовать», к ним не надо «приходить», они не ревнивы. В «язычестве» мы у себя дома и никуда не собираемся идти. «Язычество» ищет спокойного человека, и более того — не расстраивает его душевную жизнь требованиями, которые невозможно, оставаясь человеком, исполнить; не подкарауливает его в час внутреннего разлада, желая «покаяния», то есть надлома и подчинения. Боги его не нравственны и не предлагают Единой Истины. Они поощряют ум, смелость, ясность мышления, соразмерность замыслов — всякое развитие «вперед и вверх», но только не святость. Смысл жизни в его понимании состоит в превращении доверенной нам богами части хаоса, начиная с собственной души — в порядок...

С этого нам и следовало бы начать.

XXI. Неполноценная образованность

«Разливъ въ языкѣ и литературѣ стихіи **полуобразованности**», — говорит П. Б. Струве, — всегда знаменует «стремительное пріобщеніе къ культурѣ и вообще быстрое и нестройное усвоеніе языка и культуры новыми и доселѣ ей чуждыми элементами». Струве прибавляет, что процесс это «въ общемъ, здоровый и нормальный, но по своей стремительности» приведший к «разлитію полуобразованности въ странѣ». Сегодня полуобразованность — не просто побочное следствие быстрого приобщения к культуре масс, до того ей чуждых, но господствующая сила, в царстве которой уже нет места для настоящей, глубокой культуры.

Мы уже говорили о полуобразованности раньше, [20] но вопрос стоит того, чтобы к нему вернуться.

Определим точнее предмет нашего разговора. Полуобразованность — следствие чисто технического подхода к просвещению, который ограничивается тем, что сообщает уму ряды фактов и оценок, не воспитывая в нем способности суждения. Политически она — дитя революции (хотя основы ее заложены еще при старом порядке). Непременная черта ее — разрыв со всякой традицией, утрата *чувства живого прошлого*. В языке полуобразованность проявляет себя, как говорит Струве, «порчей и засорением» (называя их, конечно, «развитием» и «обогащением»). В области мировоззрения полуобразованность неразрывно связана с «левыми» убеждениями и плоским материализмом (последнее принято называть «научным мировоззрением»). Что касается культурного творчества, то оно, в исполнении получивших неполноценное образование, превращается в механический труд, больше связанный с «идеями», чем с глубинным проникновением в предмет и созиданием смыслов. Какие бы то ни было «смыслы» полуобразованность просто не признаёт, это непосредственно вытекает из ее будто бы «научного» мировоззрения. Наконец, рассматриваемый нами склад ума всегда беспочвен, чужд национальным корням, готов беспредельно заимствовать, не усваивая заимствованное.

Поговорим об этих его чертах подробнее.

1. Идея и схема

Разлитие полуобразованности — побочное следствие поставленного «на поток» образования. Такое образование, как говорил Струве в упомянутой статье, работало с «человеческим материалом», который «выходил из культурной среды, стоявшей гораздо ниже этой принимавшей его школы. Эти толпы всю

[20] Эссе «Полупросвещение».

культуру вообще, а словесную в частности, брали из школы. Из дому они ничего не приносили». Требовалось в короткие сроки передать этим людям... что именно? Умение мыслить, умственную почву, мудрость? На это у преподавателей не было или времени или способностей, поэтому массовое образование выбрало путь несложный, зато короткий. Ученикам всенародной школы можно было передать или *знания*, или *понимание*, и были выбраны знания.

Но как же так? Разве передача знаний — не главный смысл образования? Нет. Иначе Гомер не заменял бы грекам университета. Просвещение (это лучшее слово для того, о чем мы говорим) передает следующим поколениям нечто гораздо большее, нежели сумма знаний.

Наш век охотно смешивает *знания* и *понимание*. Можно знать очень много, понимая очень мало. Сила понимания не в обладании фактами. «Факты» — сырой материал, из которого ум вырабатывает понимание. Ценность не в фактах, а в их оценках, причем говоря об «оценке», мы не имеем в виду моральную. «Знание есть взвешивание и оценка фактов», говорит Просвещение. «Знание есть факты», возражает Полупросвещение.

Понимание (или, что то́ же — *настоящее* знание) вещей не одето в слова. «Мыслить» значит «устанавливать взаимосвязи»; и только в последнюю минуту, уже на кончике пера — выражать это немое знание словами. *Мысль* требует погружения в предмет и воспроизведения его внутренних связей в своем уме. Следующая, более низкая ступень умственного труда — *Идея* — гораздо менее требовательна, и есть не что иное как *имя предмета в сочетании с прикрепленным к этому имени чувством*. Иметь «идеи» совсем не то же, что иметь мысли. Первое достигается, да простится мне это слово, несложной дрессировкой, тогда как второе — внутренним трудом. Нет спора, «идеям» находится место и в мыслящем уме, они необходимы, вопрос в количественном соотношении «идей» и мыслей в умственном обиходе.

Совокупность «идей» образует «схему». Схема — основа научного подхода к вещам; его сердцевина и сущность. Готовая сеть представлений, уложенная в схему, сберегает усилия поколениям трудящихся. Однако ее могущество ограничено. У схем есть своя цена.

Далекие от науки люди думают, что ученые занимаются «познанием мира». На самом деле, ученые занимаются созданием плодотворных упрощений или схем, применение которых облегчает человеку воздействие на природу, то есть делает его сильнее. Есть науки, не стремящиеся к власти над миром, но и в них власть схем безгранична. Схема облегчает умственный труд, она послушное и

удобное орудие: как ее избежать? Иначе говоря, наука есть путь плодотворного упрощения мысли.

У первобытного мышления сколько событий, столько и объяснений; за каждым явлением стоит особый дух. Для мысли в мире, по мере ее развития, всё меньше особенных, неповторимых причин, всё больше однородных явлений. Вершина этого развития — как некоторые думают — научное мышление, для которого все разнообразие вещей объясняется немногими простыми причинам. Наука, в своей основе, есть воля к упрощению. Воля к сложности, заставляющая человека снова и снова, после всех разрушений, строить умственные и религиозные здания — вненаучна.

Нельзя сказать, чтобы поиск наименьшего числа причин был сам по себе плох. Однако есть области, в которых он явно не оправдывает себя, приводя к откровенно негодным, чисто техническим объяснениям. Это области человеческого — ума и духа. Здесь, как давно уже сказано, «самое причудливое объяснение принимается, чтобы мир не имел таинственного вида». В применении к задачам просвещения «идеи» и «схемы», с одной стороны, помогают учителю и ученику; с другой — их губят.

Поставленное «на поток» преподавание становится *преподаванием схем*. О понимании в этих условиях уже нет речи, на него у преподавателя нет ни времени, ни (как правило) способностей. Средняя и высшая школа в условиях всеобщего образования учат не мыслить, но выбирать «правильную» схему. К этой губительной для развития ума практике присоединяется в России еще и длительное, чуть ли не вековое, отсутствие книг, дающих представление о других точках зрения, кроме «единственно верной». «Просвещение для масс», таким образом поставленное, становится машиной для выработки посредственности, средством целенаправленного формирования средних способностей.

Еще печальнее то, что полуобразованность успешно воспроизводит сама себя. На месте богатого и просторного культурного мира прежних времен она ставит узкий мирок «специалиста». Сведя просвещение к образованию этого «специалиста», она душит в личности внимание к глубине, вкус к внутренней жизни; а без этого вкуса к сложности технические вопросы — единственное, что еще может эту личность волновать.

При «нормальном» порядке у личности, прежде всяких внешних дел и достижений, есть внутренние основания, на которых строится всё остальное. Там, где некогда находились эта основания, сейчас пустота — внутренняя жизнь как нечто находящееся в ведении врача, или нечто такое, что следует заглушать при

помощи спиртного, или карьерных переживаний, или затушевывать «увлечениями». Человек делается ненужен себе, и ценность свою измеряет или доходом, или должностью (так в советские годы), или количеством полученных удовольствий. Приобретенное им «образование» только утверждает в мысли, что всё это внутреннее — ничтожно или ненужно, т. к. не общеполезно. Оно не укладывается в «схему», не служит никакой «идее», а единственное мерило, с которым можно подходить к внутренней жизни личности — религиозное — для большинства умов, пропущенных через *полуобразовательную* машину, не существует.

2. Безъязыкость

Черта новой эпохи, которая первой бросается в глаза — ее безъязыкость, режущее непонимание смысла слов и неумение (пожалуй, и нежелание тоже) их правильно сочетать. Слова употребляются как будто наобум, как гоголевский Петрушка складывал буквы: а вдруг что-нибудь и получится? Русским словам во всех случаях предпочитаются иностранные, и чем жестче, неблагозвучнее эти заимствования вклиниваются в речь, тем выше (по собственному ощущению) ранг говорящего. Одержимость нелепыми словами («информация», «ситуация», «лидер», «регион»... продолжать можно бесконечно) много говорит о самих одержимых. Им хочется стать хоть на ступеньку, да выше истинного своего положения. Непонятные слова (иностранные слова в этой среде обаятельны именно в силу своей непонятности, смутности смысла) их возвышают.

Н. П. Гиляров-Платонов давно и очень удачно говорил об этом:

«„Констатировать” вмѣсто „подтвердить“ или „удостовѣрить“ какъ-то вкуснѣе и благороднѣе кажется; самое понятіе кажется, хотя оно совершенно то же, что и выраженное по-русски, болѣе возвышеннымъ, болѣе умнымъ, болѣе просвѣщеннымъ. Констатирующій воображаетъ себя во фракѣ и пренебрежительно посматриваетъ на удостоверяющаго, находя, что онъ в зипунѣ. Онъ, такъ сказать, шествуетъ, когда тотъ идетъ, или кушаетъ, когда тот ѣстъ просто».

Мысль и средства ее выражения взаимосвязаны. Пишущий мыслит на острие пера. Определенные формы письменной речи дают определенное построение (если не содержание) мысли. Стиль бросает отсвет на мышление, даже больше: дайте человеку сложное, богатое (желательно избыточно богатое) средство выражения мыслей, и у него будут богатые, сложные мысли. Вернее будет сказать: и у него *появится возможность* развить в себе эти мысли. Культура любит запас мощности применительно к средствам выражения. Ум ленив, при любых

условиях он использует только часть доступных возможностей. Упрощая выразительные средства, мы обрекаем ум на простоту еще бóльшую. [21]

Как говорил кн. С. Волконский:

«Мысль, неясно выраженная, сама не ясна. И не оттого она неясна, что не тѣми словами выражена, а оттого не тѣми словами выражена, что самый мозгъ неясен: настоящихъ словъ не знаетъ, смѣшалъ слова, покрылъ понятіе не соответствующимъ словом, слилъ два понятія въ одно. Вот, мнѣ кажется, настоящая почва, на которую слѣдуетъ поставить вопросъ о воспитаніи правильности и чистоты языка. Мы прикасаемся здѣсь къ одному изъ важнѣйшихъ и интереснѣйшихъ вопросовъ воспитанія, — къ обратному воздѣйствію *послѣдствія* на *причину*. Мозгъ есть причина рѣчи, а рѣчь — послѣдствіе мозговой дѣятельности, и неправильная рѣчь (послѣдствіе) искажаетъ мышленіе (свою причину). Мы можемъ опредѣлить это явленіе и какъ обратное вліяніе *формы* на *содержаніе*. Распространимъ далѣе и скажемъ: вліяніе внѣшняго человѣка (форма) на внутреннего (содержаніе). Все это сторона воспитанія, которая у насъ, русскихъ, всегда была въ пренебреженіи. У насъ всегда твердили, что содержаніе важнѣе формы, и поэтому всякое воспитаніе формы почиталось ненужной роскошью, барствомъ и даже считалось вреднымъ».

Верное для старой России, это наблюдение гораздо вернее в новой. Тем более, что теперь упрощение речи до буквально детских первооснов находит себе рациональное основание. «Шаблонные формы речи, вырабатываемые наукой, — говорят некоторые, — способствуют взаимному пониманию ученых из разных стран». Однако еще более они способствуют шаблонному мышлению, т. к. мы мыслим заведомо *не сложнее*, чем излагаем. *Слово* воистину неотделимо от *ума*.

Итак, во времена «массового просвещения» выразительная сила языка падает; ясность мысли, да и сама мысль, исчезает; речь затемняется множеством иноязычных заимствований, смысл которых неясен самому говорящему, и темнота речи, этими заимствованиями пестрящей, принимается за глубину. Говорящий

[21] Русскому уму необходимо рассовечивание формы и содержания. И тут, и там следует двигаться к богатству и сложности — прочь от плоскости и убожества. Лепка нового литературного языка возможна только на основе классической русской речи, в том числе и ее правописания — строгого и изящного, воспитывающего ум и руку пишущего. Безобразие советского и послесоветского писаного слова не в последнюю очередь связано с тем, что пишущий (впервые в русской истории, если не считать заборных надписей) очутился на пустыре, без облагораживающего влияния внутренне-связной, сложной, богатой средствами выражения орфографии. Письменный язык есть произведение искусства, архитектура своего рода, и «общедоступность», взятая как цель, губит его так же, как советская эпоха погубила архитектуру, из всех видов зданий оставив только повторенный в различных размерах сарай.

при этом убежден, что речь его как никогда остра и выразительна. (Это ощущение собственного превосходства при полном отсутствии поводов для него чрезвычайно характерно для нового времени...)

Безъязыкость ведет если не к бездушию (одушевленность неотменима), то к животной неразвитости душевной и умственной жизни. Кого не учили говорить, того не научили думать. Единственное «просвещение», достойное этого имени, начинает с формирования ума посредством слова, т. е. обращается в первую очередь к человеческому. Нельзя «образовывать» техников и математиков; прежде нужно образовать *мыслящих*. Здесь разрыв между Старым миром и современностью. Задача формирования цельного человека оставлена за ненадобностью: «нам и техника довольно, зачем еще человек».

Прискорбное переполнение школьного курса физикой, химией и биологией развитию личности способствует не более, чем гимнастика (другой конек современной школы). Есть науки, образующие личность, и есть науки специальные, нужные личности в меру особенностей выбранного труда. Биология с химией — личности не образуют. Они забываются немедленно по истечении надобности, и навыка постоянного, кропотливого, внутренно-последовательного труда (даваемого, например, изучением языков) не создают. Прежде всего уму нужен опыт установления связей, уже потом — факты. Этот опыт дается так называемым «гуманитарным» знанием.

Можно ли сказать, что у чад «нового порядка» нет душевной жизни? Нераспознанная, нераскрытая — конечно, есть. Но переживание, для выражения которого у нас нет слов, проходит незамеченным. Слова же теперь, в «новом мире», есть только для самых простых душевных движений. Даже — простите мне неожиданный пример — вожделение (богатое, тонкое, и притом как будто общедоступное переживание) выражается самыми плоскими понятиями.

3. Власть «левого»

Как сказано выше, получивший упрощенное образование уверен, что о всех вопросах может быть только одно верное мнение. Как правило, эта формула сокращается до еще более простой: «о всех вопросах может быть *только одно* мнение» — потому, что на протяжении всего курса наук его окружали книги и преподаватели, подтверждавшие только одну точку зрения. Прибавьте к этому еще цензурный гнет «победившего социализма» и принудительное семидесятилетнее единомыслие. К единомыслию человек привыкает, с ним спокойнее жить. Став взрослым, вчерашний школьник продолжает верить в «единую истину об одном предмете». От этой убежденности до «левого» мировоззрения — рукой

подать, т. к. «левое» и есть (как и его библейский прообраз) *вера в единую истину*.

Конечно, при всем сходстве «левого» с христианским надо заметить, что в одном отношении «левое» есть *христианское, вывороченное наизнанку*, а именно, в отношении к внутреннему и внешнему. Для христианства всё внутри и ничего снаружи. Для «левого» всё снаружи и ничего внутри. Полуобразованный человек, дитя левого «нового порядка», в первую очередь верит в то, что у него нет души...

Итак, человек полупросвещенный — всегда «левый». Эта связь заслуживает исследования. Почему «поверхностныя мнѣнія, наобумъ приноровленныя ко всѣму» (Пушкин о Радищеве), связаны только с одним из возможных мировоззрений? Думаю, здесь нет ничего странного.

Консервативное мировоззрение сводится, в двух словах, к любви и уважению к прошлому. Полупросвещенному нечего хранить, уважать или вспоминать. История человечества, преподанная ему как переход (который случился буквально вчера) от «мрака» к «свету», отбила у него всякое любопытство к прошедшему. «Техника» и «факты» — ось, вокруг которой вращаются его интересы. Он весь сегодня. Полупросвещение обрывает всякую преемственность.

Кстати: говоря о «левом», нужно обратить внимание на следующую его особенность. Левый, во первых, обладает религией, но, во-вторых, это религия исключительно посюсторонняя, «отрицательного» или «внешнего» порядка. Ни во что внутреннее и тайное он не верит, но только в то, что на поверхности и что может быть достигнуто чисто техническими способами: республику, социализм, равенство... В сущности, он верит *в технику*. Быть левым значит не иметь такой религии, которая не вполне здесь и не вполне сейчас. (Оставляя в стороне германских «национальных социалистов», у которых, если верить досужим языкам, были хотя бы суеверия, то есть зачатки религии.)

К «новому порядку» (левому по своим истокам) люди этого слоя неизменно лояльны, и сразу по нескольким причинам. Исходно эта лояльность была внушена их отцам и дедам средствами внекультурного принуждения, т. е. насилия, но по прекращении насилия (а затем и не поддержанной настоящим деятельным насилием лжи), полуобразованный слой у нас в России остался верен породившему его перевороту. Всё «левое», упрощенное — ему по нраву, всё «правое», наследственно-памятливое, основанное на плодотворном и сложном прошлом — его отпугивает. Полушутя, полусерьезно можно сказать: чтобы напугать полупросвещенного, покажите ему букву *ѣ*. Отношение к традиционному правописанию — у нас безошибочный способ отличить *человека культуры* от *человека*

техники. Впрочем, так оно в России было и при Старом порядке. Изменилось с тех пор — количественное соотношение *культурной* и *полукультурной* частей общества.

4. Механический труд

Было бы удивительно, если бы «просвещение для масс» привело к появлению богатой литературы или к развитию *наук о человеческом*. Как для того, так и для другого в исторической России была богатая почва, однако после обработки этой почвы механически понятым «просвещением», на ней стали плодоносить только «точные», если не сказать прямо — прикладные науки, занятые, как говорилось выше, ростом внешнего материального могущества. Хуже того: в сознании масс бомбы и самолеты, плотины и небоскребы стали образом науки, хотя глядя на них, следовало бы говорить о технике.

Что же касается тех отраслей умственного труда, успехи которых не выражаются «плотинами и самолетами» — в них человек новой эпохи не показал своих преимуществ. В жизни эти люди — служащие механической фабрики фактов (или вымыслов, если речь идет о журналистах или литераторах). Их можно в лучшем случае похвалить за «профессионализм» (любимое слово безблагодатной эпохи), но ни о каком внутреннем развитии, совершенствовании, явленном в их труде, речь не идет. *Настоящее творчество* (назовем ли мы его литературой, или философией, или искусством, или поэзией) всегда рассказывает о внутреннем развитии творца. Где нет развития, «боли и перехода», нет и творчества в его подлинном смысле. Механическая фабрика во внутреннем развитии не нуждается, ее плоды год от года одни и те же. Из полукультуры, по сравнению с культурой, изъято понятие роста, усложения, движения *вперед и вверх*.

В дни «демократических» соблазнов у культуры появился новый противник: успех. *Успѣхъ* достается тому, кто *успѣлъ*. Традиционная орфография подчеркивает связь понятий. Внутренняя дисциплина, испытание молчанием как основа творчества — эти слова сейчас звучат откровенным безумием. А ведь самые сильные слова — несказанные. Творчество составляется из отложенных и подавленных откликов. В конечном счете, «воспитание способной творить личности» означает воспитание в человеке *долгих душевных движений* (вкладывая в понятие *души* нераздельную жизнь ума и чувства). Долгие душевные движения в наши дни находятся на ущербе. Они не просто не воспитываются — воспитывается их противоположность, готовность «заявить несогласие», поскорее крикнуть. Крики не воспитывают душу и не обогащают ее.

5. Свое и чужое

Разрыв с традицией, включая традицию выработанной и сложной литературной речи, приводит новый образованный слой к безграничной готовности заимствовать. Заимствованное, как обычно бывает у тех, кто потерял почву под ногами, всегда кажется лучшим, более ярким и подходящим, нежели свое. Однако поспешно заимствованное проглатывается, но не усваивается. Если эпоха глубокого содержания всегда бывает эпохой выработанного глубоко личного, только ей присущего стиля, то заимствованные осколки чужих ценностей стиля не создают, тем более содержания. Через столетие после конца «старого мира» мы переживаем бесстильную (и бессодержательную) эпоху, которая свою *свободу от содержания* воспринимает как достижение...

В действительности — не в искаженном и тесном мирке «новой культуры» — у нас нет иного выбора, кроме присоединения к одной из традиций. Культуры без прошлого не бывает. Плодотворной внутренней жизни без прошлого не бывает. Больше того: обладание некоторым прошлым и есть признак культуры. Это относится как к религии, так и к политике. Мы можем или принять одну линию наследования, или другую, но не в наших силах остаться *совсем* без прошлого, если мы хотим себе будущего. Не присоединившись к тому, что больше нас, старше нас и продолжится после нас, мы не можем применить всю полноту своих сил ни к какому делу.

И еще одно. В культурном, т. е. переживающем современность смысле, «быть» значит «быть национальным». Кто не национален, не самобытен, не питается в первую очередь *своей* почвой — не переживает своего мгновения, ничего не значит, вычеркивается из истории умственного развития. Дело не в том, что чужие мысли не имеют цены. Имеют, но только *для чужих*. В области мысли питательно и жизнеспособно только то, что усвоено почвой, на которой стоит мыслящий. Заимствовать не значит усвоить. И в то же время многое заимствованное и хорошо усвоенное становится своим, но это требует времени. «Усвоенное», вошедшее в отечественную почву заимствование всегда есть заимствование старое, пропущенное через много умов, очищенное и обогащенное местными влияниями.

Что же касается «открытости», которой так принято было поклоняться до недавнего времени, она не так благотворна, как кажется. Наибольших успехов добиваются не «открытые», а *полузакрытые* миры, окраина которых медленно взаимодействует с окружением, а сердцевина развивается самобытно; в которых объем заимствований далеко отстоит от объема самобытно произведенных цен-

ностей. Ценности «открытости» суть ценности плохого пищеварения: всё проглатывается, но не усваивается. В заимствованиях, говоря словами В. Буркерта, важен не сам факт переноса из одной культуры в другую, а *«отбор и приспособление, переработка и подстройка»* заимствованного для нужд принимающей стороны. Плодотворные заимствования — те, что были глубоко усвоены и тесно переплелись с местными представлениями.

...Такие последствия имело введение «просвещения для всех». Конечно, неполноценность нового порядка показать легче, чем пути выхода из него. И еще неизвестно, возможен ли этот выход. Культура основывается на внимании *к личности* и на внимании личности *к себе*, то есть на человеческом, то есть на внутреннем, то есть на религиозном. Культура предельно далека от всего технического, от умения производить вещи и от умения пользоваться вещами. У нее не средства, а цели. Противоположный культуре миропорядок имеет средства, но не имеет целей. Относительно него не следует питать иллюзий. Сколько бы шума ни производила созданная им суета, она ничего не значит для человека и человеческого, она пройдет бесследно. Все внечеловеческое, внекультурное будет вычеркнуто из истории, потому что оно *ни о чем*, у него нет содержания.

Чтобы снова началась обладающая стилем и содержанием эпоха, нужно воспитать хотя бы в одном поколении *вкус к сложности*, познакомить его с удовольствием преодоления простоты, с творческой радостью. Боги, дав человеку свою природу, загоняют его или в творческий труд, или в игру страстей — потому что только в творчестве или в страстях можно избавиться от избытка сил, сжигающего изнутри. Душа ждет труда, и надо приучить ее к этому труду. Сейчас это выглядит невероятной мечтой. Однако это единственный путь от неполноценной образованности — к мысли.

XXII. Власть пошлости

Достижение нового времени — человек, у которого не было жизни ума и духа, а только вереница несвязных впечатлений, которые копятся по мере того, как он исполняет всё новые жизненные роли: школьника, студента, наемного служащего, «научного работника». За этой внешней суетой нет внутреннего ядра, независимой личности, которая судила бы о событиях внешнего мира. На личность у современного человека «нет времени», она ему не по карману: ему всегда нужно то учиться, то жениться, то зарабатывать; когда тут еще думать и чувствовать. Не по карману ему и незаемное мировоззрение, и ясная речь, способная выразить глубокие переживания, как и сложные мысли. Такого человека на всех путях подстерегает *пошлость*.

Наши дни, поскольку речь идет о личности и ее культуре — дни господства пошлости. Пошлость пляшет, пошлость пишет, пошлость учит. Но что это за стихия, как ее определить? Дать определение «пошлого» не так легко, как его заметить. Оно проявляет себя во множестве никак, на первый взгляд, не связанных областей. Расхожее представление о пошлости уравнивает ее с низостью мыслей, распущенностью нравов. Противоположность таким образом понятой пошлости видят в «романтике». Однако непосредственной связи между «низким» и «пошлым» нет.

Поговорим об этом подробнее. Что такое эта «пошлость» и в чем себя проявляет?

***

Описать пошлость легче, чем определить ее существо.

Мы можем сказать о ней, например, что пошлость всегда притязает, но никогда не может. Она самозванка. Задача ее — убедить публику в своей подлинности; ее почва — незрелый, невоспитанный вкус. Публика и хотела бы видеть талант, но не в силах отличить талант от фигляра, и на место таланта приходит пошляк.

Мы можем сказать и так: пошлость — незрелость, неестественность, манерность, неспособность стать в полный рост. Пошлость прежде всего хочет *казаться* чем-то таким, чем *не является*, а уже потом глупа или невежественна. Пошлость есть подделка.

Легко заметить, что пошлость, как и ее двоюродная сестра — полуобразованность, смешлива. Ее склонность к хихиканью невозможно не заметить, но трудно понять. Да что такого во всем полновесном, полноценном, *трудно-сложно-прекрасном*, что оно вызывает смех? Причина проста. Смеющийся чувствует себя выше осмеиваемого. Пошляк всё знает точно — из учебника или от людей своего

круга. Что в это «знание» не вмещается, достойно осмеяния. Такова уж общая склонность людей неразвитых, а господство «единой истины» в последние сто лет — ее усилило. По сути же, *простое* здесь смеется над *сложным*.

Смех — защитное приспособление пошлого ума. Не просто так он осмеивает всё выходящее из плоскости «общепонятного». Во всех вещах, эту плоскость превосходящих, он видит себе угрозу. Задуматься о «неположенном», «не всеобщем» — значит хоть на минуту, да стать выше плоскости. Такие попытки наказываются осмеянием, тем «простым и здоровым смехом», который принято связывать с т. н. «здравым смыслом».

Можно и то заметить, что пошлость боится волнения, искренности, человечности, естественности, непосредственности, удивления, восхищения, надежды... Все это для нее слишком «детское» и «незрелое», все это осмеивается. Можно подумать, что перед нами плоды излишней зрелости, чрезвычайной мудрости. Но нет, напротив: перед нами не излишняя, а недостаточная зрелость чувства. Без упражнения оно засохло во младенчестве.

Пошлость — дитя свободы без одиночества. Она подстерегает человека, предоставленного — не «самому себе», но среде, не превышающей его уровня. Пошлость закрывает человеку доступ ко всем высшим переживаниям и замыкает его в области «обыкновенного». Иногда это сопровождается первобытным опрощением личности, иногда довольно и «усреднения» до некоего общедоступного уровня. Но и в этой разновидность пошлость враждебна всему высшему, приговаривая: «Это когда-то давно было уместно, но не сейчас, сейчас время положительных ценностей!»

Мастерство слова пошлости ненавистно, как все, обличающее высшее душевное развитие. Пошлость обожает «срывать покровы». Ясность, сложность — «не нужны», это «не настоящее», «про неправду-с писано». Однако пошлость может быть «романтичной». Она даже тяготеет к превыспренности, когда речь идет о чувствах. Правда, превыспренность эта топорная, домашнего изготовления, но иначе и быть не может. Дело в том, что пошлость «не умеет» испытывать чувства — не в том смысле, что их нет у нее, а в том, что не может их выразить и, следовательно, истолковать. Ей нужны заемные слова, и чем «красивей», чем громче — тем лучше.

Не просто слову враждебна пошлость: и самому творчеству. Творчество обращено к личности, пошлость к толпе. Только первым наслаждаются в одиночестве; второе без людского множества не существует. Пошлому противостоит неповторимо-личное. Пошлое всегда с чужого плеча, поношенное, со слуха и из книг, «как у всех».

Где рождается пошлость? Там, где уже есть желание радоваться чему-то, кроме непосредственных впечатлений бытия, но нет умения отличать плоды усилия и труда от фиглярства. Потребность в *чем-то* (не скажу даже: в искусстве) уже есть, судящей способности — нет.

И вот еще определение пошлого: *легкодоступное для людей, не приученных к внутреннему труду*. Пошлость создается полуобразованностью, полуобразованность же — получением суммы знаний без суммы привычек к труду. Что еще горше — сумма эта дает получившему ложное чувство всезнания... Как говорил один скучающий недоросль: «Мне скучно, я уже всё знаю!» Это и есть состояние человека пошлости. Он скучает, ему надо развлечься.

Пошлость цветет в условиях свободы. Сама ли свобода в этом повинна, или разрушение культурных и бытовых основ, бывших до нее? Притом же пошлость не тождественна невежеству и «простоте». Совсем напротив. Есть пошлость нахрапистая, а есть полуобразованная. Почва у них одна: лень ума, а за ней — приверженность «схеме», простейшему объяснению. Пошлость — не осознавшая себя «схема», одичавшая и обросшая шерстью.

Что же касается «простоты»... Пока еще был «простой», т. е. не затронутый городским влиянием, народ — пошлость зацветала в нем только там, где он соприкасался с городским полуобразованием, т. е. переставал быть «народом», не став чем-то другим, высшим. Пока народ был самим собой, он обладал своими ценностями, которые принимались всерьез, без озорства и фиглярства. Вкус к пошлости есть вкус к *красивенькому*, не к красивому. Красивое требует труда, серьезности, воплоти его в «народном» или «дворянско-интеллигентском» облике. «Красивенькое» доступно каждому.

Пошлость — выражение болезни вкуса. Вкус дается или традицией (в этом случае он безличный, поколениями выработанный и сохраненный), или личным развитием. Слегка преувеличив, можно сказать: область пошлости лежит между *гением* и *обычаем*. Сила обычая, к сожалению, угасла (вернее, уничтожена) без остатка. Область труда почти отсутствует в мире «дипломированных специалистов» или тех, кто готовится ими стать. Это звучит странно — как «специалист» может быть без труда? Однако приобретение специальных знаний, как мы говорили в другом месте, само по себе еще не учит трудиться.

Пустота между обычаем и высокоразвитой личностью заполняется посредственностью, средства выражения и вкусы которой диктуются сбережением усилий при ограниченной судящей способности, поиском наименьшего общего знаменателя; всем доступного объяснения; вообще того, что всем по плечу.

Пошлость есть подражательная бесформенность. Вопрос о пошлости — вопрос о форме и двух ее источниках: обычае и личном развитии. Есть и третий, смешанный и самый плодотворный: *обычай, питающий личное развитие*. Благодаря этому третьему источнику, опорой культуры было когда-то дворянство. Обычай двуедин: он не просто учит почитать предков и богов, он еще и требует от нас: быть такими, чтобы не постыдились предки и не отвергли боги. Научая личность почитанию того, что *прежде* и того, что *выше*, он поощряет ее развитие. Обычай и религия создают личность; вернее, она растет в их свете.

***

Пошлость находится в прямом родстве с *полуобразованностью*, о которой мы не раз говорили. Известный каждому пример полуобразованной пошлости — Хлестаков. Ко всему он чувствует себя способным, ничего толком не умея. А что такое полуобразованность? Поверхностно развитые способности без ума и воли, способных их направить. Надо помнить, кстати, что в при социализме в России ум был подменен «способностями». Последние поощрялись, первый сознательно ограничивался, если не прямо наказывался. А ведь, как говорит П. Муратов: «способный — совсем еще не значит умный в серьезном значении этого слова». «Способности» — только вспомогательные силы при уме и душе, нечто боковое по отношению к личности. Поощряя одни только маленькие способности, мы воспитываем посредственность. Есть, разумеется, еще более прямой способ насаждения посредственности — через угнетение *всех вообще* способностей, а не только высших; через поощрение *растительного* способа существовать — путем потребления, а не производства ценностей. Этот способ нам, русским, тоже теперь знаком...

Школа, которая печется о «способностях» учеников, но не развивает их умственно, так же не достигает цели, как школа, занятая прежде всего тем, чтобы одни ученики не были способнее других. Недостаток «способностей» (но и удобство для государственной власти определенного рода) в том, что всякая способность есть *умение делать нечто*, в самом себе уже ограниченное, подразумевающее неспособность ко всему остальному. Человеку во взрослой жизни прежде всяких умений понадобится ум — первоспособность, если так можно выразиться, широко обтекающая все маленькие способности, о «развитии» которых печется та школа, что готовит *работника*, а не *человека*...

При всем выше сказанном — ум ленив. Предоставленный самому себе, он выбирает кратчайшие пути. В области мышления это «схемы»; в области прекрасного, вообще внешних форм — это «общедоступное»; что же касается языка, его поражает безъязычие — темнота выражения при простоте содержания.

Только обычай или воспитание выгоняют ленивый ум из его норы — к *радости сложного*. Иначе под покровом «всеобщего просвещения» будет нежиться умственная лень. Пока мы не возьмемся за воспитание вкуса к сложности — нечего и ждать улучшения. Волна развлечений, подвижных игр, более или менее неумных, но развлекательных книжек — вкуса к сложности не воспитывает. Нужно нечто иное. И обращаться с этим «иным» можно только к тем, кто еще не прошел школу усреднения... Бороться с полуобразованностью через обращение к самим полуобразованным бесполезно, т. к. они «непромокаемы», как говорил протопресвитер Шмеман, ко всяким доводам разума. То же и с пошлостью.

XXIII. Безъязычие

Мы закончили разговор о пошлости на том, что предоставленный самому себе ум ленив и всегда выбирает кратчайшие пути; в области языка эти «кратчайшие пути» ведут к *безъязычию* — темноте выражения при простоте содержания. Рассмотрим это безъязычие подробнее.

1

Порча языка, производимая полуобразованностью, подчиняется определенным законам, отчасти как общественное явление, отчасти как особое наречие внутри общерусского языка.

О безъязычии как общественном явлении надо сказать следующее. Полуобразованный *не просто* говорит плохо. Он говорит так, как, по его мнению, должен говорить человек просвещенный. Искажая свою речь, он хочет стать выше места, которое в действительности занимает. Это черты выскочки, *nouveau riche*. Цель культурного человека — ясность и сила речи; цель нувориша в области культуры — произвести впечатление. Предмет речи ему менее важен, чем впечатление «учености», какое эта речь произведет.

В качестве сознательной порчи языка, безъязыкость подчиняется законам скорее психологическим. У полуобразованного есть два желания: выглядеть ученее, чем он есть, и сберегать умственные усилия, пользуясь готовыми схемами там, где человек культуры выбирает верное слово. Вырабатывается речь, пестрящая плохо понятыми иноязычными словами, на каждом шагу нарушающая принятые в русском языке правила соединения слов. «Надменные слова с иностранным, туманным значением», как говорил Зощенко, — ее основа. Любому, самому бессодержательному высказыванию они будто бы придают весомость. А так как точное значение заимствованных слов непонятно самим говорящим, каждое такое слово заменяет целое гнездо коренных русских, различающихся оттенками смысла, и таким образом убивает эти слова, а вместе с ними привычку к точному словоупотреблению.

2

Желание говорить «учено» меняет не только выбор, но и порядок слов.

Русское предложение прежде всего указывает на действие. *Источником силы* в нем является глагол. Безъязычие всегда строит фразу вокруг неуклюжего отглагольного существительного, причем чаще всего — иноязычного: «*стабилизация*», «*нормализация*». Иноязычность предпочтительна, т. к. возвышает говорящего в своих и чужих глазах, но можно назвать и чисто русские речения того же рода: «*закуп*», «*выгул*». «Русский язык беден, в нем нет необходимых слов»,

говорят безъязыкие. Однако они пытаются строить предложение способом, которого русский язык не допускает, или, по меньшей мере, которому он яростно противится. [22]

Возьмем расхожее выражение: «Стабилизация ситуации». Оно не только неудобопроизносимо, не только пользуется ненужными иноязычными заимствованиями (которые не прибавляют языку новых, ранее не бывших в нем смыслов, но только затемняют наличные). Оно еще и противно складу русского языка, который в этом случае скажет: «Равновесие, порядок, строй *восстановлены*». Главное выражено глаголом, осталось только верно подобрать существительное.

Однако умственная лень предпочитает, *выражая мысли, не мыслить*. Потому и склонна к заимствованным словам-затычкам, которыми, в силу неясности их смысла, можно выразить все, что угодно.

Любит это наречие и такие выражения: «Ситуация стабилизировалась». Предложением здесь только по видимости правит глагол, по существу же — это перелицованное *существительное-затычка*, наскоро произведенное в глаголы. Русский язык в этом случае требует сказать: «достигнуто равновесие, успокоение». Глагол правит, и при нем — верное слово.

Другой расхожий пример — предложения вроде: «он возмущен *ситуацией с невыплатой* денег». Это дико во всех отношениях. Говорящий желает избежать правильного, требующего обдумывания, порядка и набора слов. По-русски мы скажем: «он возмущен тем, что Х *не выплатил* деньги». Здесь нет слова-затычки, нет переноса центра силы на существительное и нет существительного-уродца, наскоро созданного из глагола.

Еще пример того же рода: «некто *констатировал стабилизацию ситуации*». Это «неудобьсказаемое», как сказали бы наши предки, выражение — от нежелания верно расставить логические связи. Следовало бы сказать: «Некто подтвердил, что успокоение, равновесие, покой — *достигнуты*». Но чтобы сказать так, надо помыслить. Проще прибегнуть к спасительной схеме. Одну и ту же словесную схему можно применить к чему угодно.

Есть и много других примеров, вроде широко распространенного: «*адрес осуществления действий по производству*» вместо естественного для русского языка «*места производства*». Здесь и иностранное «адрес» вместо русского «места», и высокоученое «осуществление действий по» вместо простого и ясного

[22] Кстати сказать: глагол как источник силы — начало, ярко проявляющееe себя в русском традиционном правописании. Мы пишем (или, по меньшей мере, должны писать): «владѣть», «завладѣлъ», «владѣлецъ», «владѣніе». Производные образуются не от корня, как можно подумать, а от глагольной основы на -ѣ. Все эти производные глагол подчиняет своему написанию.

указания на действие... Все их перечислить невозможно, да и нет у меня такой цели.

3

Это наречие было когда-то названо «канцеляритом». Не канцелярии, однако, виновны в его появлении. Канцелярский язык старой России был вполне национален, т. е. полнокровен, если не говорить о «викториях» и «ретирадах» Петра Великого. Однако перелом, вызванный Великой войной, разрушил все готовые формы, в том числе и формы литературные. Пришел, как говорит П. Муратов, «военный писарь». [23]

Сам по себе «писарь» не был противокультурным явлением. Но приход его совпал с разрушением всех накопленных культурных форм. Настало время *бесстилия*, чуждое всякому личному своеобразию в слове.

Что такое стиль? Выработанная непохожесть, иногда — приобретенная, т. е. заимствованная. За всяким стилем, даже и заимствованным, стоит личность или целая вереница личностей. Противоположность стиля — безличие, серость, уподобление не выдающемуся, но посредственному. Эпоху разрыва преемственности поражает бесстилие, коллективная принуждающая серость. Развитие слова в такое время направляется не вверх, а вниз; не к плодотворной сложности, а к бедной простоте. Всякой непохожести это время враждебно. Дальнее следствие этого принудительного единообразия — больное любопытство ко всякому отклонению *независимо* от его культурной ценности, к господству помойки в конечном счете (судьба русской культуры после падения социализма). «Стиль трудноотделим от содержания», говорит В. Буркерт. Бесстильные времена обязаны быть бессодержательными.

Кстати, любопытен вопрос: каким образом богатое и сложное прокладывает себе путь к сердцу? Почему и для кого оно обаятельно — и кто не чувствует

---

[23] «Психологической родиной большевизма была административно-хозяйственная часть войны, тотъ военный распорядокъ, который подчинилъ управленію и руководству безчисленныхъ іерархически зависящихъ другъ отъ друга военныхъ канцелярій десятки милліоновъ людей. Настоящая альма матеръ большевизма, подлинная его академія, это даже не крупный какой-либо штабъ, но безконечная полковая, батарейная или ротная канцелярія.

Полуинтеллигентный военный писарь явился намъ недаромъ въ 1918 году первымъ вѣстникомъ большевизма, да, кажется. такъ и остался со всей своей ушибленной, уязвленной и ущемленной «внутренностью», какъ бы сказать, «вѣчнымъ типомъ» совѣтскаго государственнаго дѣятеля...

Было бы интересно сдѣлать статистическій этюдъ о числѣ современныхъ совѣтскихъ дѣятелей, появившихся впервые въ пресловутыхъ полковыхъ и тому подобныхъ комитетахъ. Думается, что велико число людей, почувствовавшихъ тогда впервые свое «государственное призваніе». Тогда они начали говорить, писать, жестикулировать, дѣйствовать, и стиль этого разговора, — этихъ писаній, этихъ жестикуляцій и вообще этого дѣйствованія, — такъ и остался безъ особыхъ перемѣнъ и до сего дня. Вотъ почему въ совѣтскомъ быту такъ живъ до сего дня военный тыловой жаргонъ, вотъ почему не только пишетъ, не только говоритъ, но и думаетъ совѣтская Россія такимъ суконнымъ приказнымъ языкомъ».

его зова? В области культуры, казалось бы, любовь к богатству естественнее, чем любовь к бедности — тем более, что здесь богатство и бедность зависят исключительно от нас самих. Однако же нет: богатство мысли и способов ее выражения —обаятельны не для всех. Думаю, одна из важнейших причин — в том, что в сложном *выражении*, неотделимом от богатства *содержания*, ум чувствует ключи к собственным внутренним тайнам; сложно-прекрасное питательно для самопознания. Без чувства внутренней тайны, без недоумения перед ней — нет и внимания к сложному; к стилю и неотделимой от него мысли. Упрощенное образование, сведенное к приобретению умений без мыслей, угашает в человеке чувство тайны (и неразрывное с ним чувство общности с прошлым — этой вечно живой и вечно притягательной тайной)... Раз «я» не загадочно, нет и любопытства к себе. Всё любопытство направляется вовне, на технику изготовления и изменения вещей.

Формообразующее начало, тяга к высшему и более сложному, аристократическая в конечном счете — отлетает от человека. Угасает и творчество, т. к. всё истинно творческое — лично, сложно-неповторимо. Личность, ее творчество, сам язык — всё делается служебно-второстепенным, подчиняясь утилитарным соображениям.

Но вернемся к приходу «военного писаря» и революции, которая дала ему власть.

Эта революция требовала свободы только для того, чтобы ее отнять. Цель социализма ни в коем случае не «свобода», но «разумное устройство жизни». А поскольку разумные правила суть единственно верные (предполагать наличие двух истин об одном предмете неразумно), следует желать им беспрекословного исполнения. Беспрекословное исполнение достигается только насилием.

В области языка русская революция и начала с грубого насилия (реформа правописания, проведенная назло грамотным и без их согласия), а продолжила попытками внести жесткие правила в области, в которых прежде авторская воля была законом. Некогда спорили о лицах Троицы, теперь стали спорить о «единственно верном» правиле постановки запятых. Возникла целая догматическая литература, посвященная тонкостям письменной речи. И нельзя сказать, чтоб язык русской прозы тем временем восходил от ступени к ступени. Совсем напротив. Русские авторы писали всё проще и проще... Литература вышла из области торжествующей сложности, т. е. кипящего избытка возможностей. Правда, переход к «почесыванию пяток» читателю произошел позже. Назначение «социалистической» литературы было только служебное, не оглупляюще-развлекательное.

4

«Старый мир», в сравнении с новым, отличал несомненный избыток свободы, и в частности — свободы мнений. «Одна истина об одном предмете» — так верили и тогда, но ценности свои старый мир получал из двух источников: от религии и от науки, которые почти о всяком предмете они мыслили разно, так что ум с детства привыкал к существованию *двух параллельных рядов истин* об одних и тех же вещах.

В культуре, к которой мы принадлежим, признавать несколько истин об одном предмете — значит сознаться в двоедушии или, по меньшей мере, чрезмерной нравственной гибкости. Христианство все вопросы делает вопросами нравственными... Любопытно, кстати, что прямой наследник христианства — левое мировоззрение наших дней — проповедует «терпимость», у которой в мире «единой истины» просто нет оснований. Терпимость — языческая добродетель. Социализму она ничуть не свойственна. Он требует сегодня терпимости из тех же соображений, из каких требовал неограниченной политической свободы накануне конца Старого мира. Свобода развязывает руки. Однако мы уклонились от нашего предмета.

Споры о запятых, ставшие возможными после того, как пышное, многообразное здание словесной культуры было перестроено в казарму, были данью той же «единой истине», о которой пеклось некогда христианство, а затем — враг его и наследник, социализм.

Богатство письменной и устной речи подразумевает ее многослойность, разные правила для разных людей и условий. Как отмечает современный биограф Розанова, Василий Васильевич «*цѣловать*» или «*целовать*» писал по желанию. И все покои литературного здания, от сочинений «первого поэта» и до лубка, в Старом мире различались подбором слов и даже правописанием. Что прилично лубку, то не годится поэту, но вспомнить о лубке может и поэт.

Нет «единственно верного» правописания — есть общая основа, совокупность возможностей, на которой и из которой можно построить как дворец, так и сарай. Революция выбрала сарай. Единственное условие: границы этой общей основы должны быть очерчены не по *простейшему*, но по *наиболее сложному* употреблению. Как я уже говорил, *никто не мыслит сложнее, нежели выражает*.

Кстати говоря: если применительно к языку нет «единой истины», но только незыблемое основание и многоярусная постройка на нем, где верхний уровень, говоря условно — *Пушкин и «ѣ»*, а на сколько-то ярусов ниже — «лубок», то

пожалуй, нынешний интернет есть «лубок» в новых условиях, и требования к нему соответственные. От лубка мы не ждем ни формы, ни мыслей.

То, что считается «современной культурой», есть только нижний, простонародный слой некоей возможной культуры, тот самый *лубок*. «Общенародность» этой лубочной культуры только кажущаяся; просто, по естественному закону, ценителей лубка неизмеримо больше, нежели ценителей Пушкина. В «нормальных» условиях наравне с первыми (точнее, на вышележащих культурных ярусах) существуют и вторые. Их мало, но они определяют культурный облик своей эпохи. «*Котъ казанской, а умъ астраханской, а разумъ сибирской, славно жилъ, слатко елъ*» — это в истории умственного развития не остается, хотя собирает наибольшее число поклонников.

Не проповедую ли я произвол под видом защиты авторской воли? Если нет «единой истины», единого всепригодного правила — не всё ли дозволено? А если «всё дозволено», то о каких порче или улучшении языка можно говорить? Таково обычное возражение людей, вышедших за ограду «единственно верного мировоззрения», как в большом, так и в малом.

На это можно ответить так. Внутренние законы языка, его любовь к плодотворному усложнению и росту не зависят ни от чьего «дозволения». Тем же самым внутренним законам подчиняется здоровая личность: развитие для нее естественно.

Что мы понимаем под «развитием» (при условии свободы от этических оценок, т. е. исключения таких определений как «стремление к добру» etc.)? Рост и усложнение средств выражения (измеряемых сложностью могущих быть выраженными мыслей) при условии верности внутренним законам языка, будь то правила сочетания слов или благозвучность. Скажем сразу, что развитие языка не исключает заимствований, однако всякое заимствование должно пройти испытание живой речью, иногда — переменить облик или соединиться с незаемными частями слова, самая же распространенная его судьба — быть отброшенным и забытым. Не так важно заимствовать, как переварить и усвоить заимствованное. Проглоченные, но не усвоенные заимствования только загромождают речь и затемняют мысль.

Что темно по выражению и бедно по мысли, то не ведет вперед и вверх, говорим ли мы о человеке или о книге.

5

Отсутствие внимания и интереса к *слову* каким-то внутренним, тайным образом связано с отсутствием внимания и интереса к *человеку*. Безъязыкая эпоха — эпоха загнанной в бескачественность души. А ведь мы понимаем вещи ровно

настолько, насколько можем их выразить... хуже того: мы становимся тем, что мы можем выразить. Не сложнее, не лучше, не выше.

Конечно, пристальное внимание к слову и книге — черта у нас, европейцев, христианская, то есть *греко-языческая* в христианском преломлении. Для эллинства личность есть слово, по меньшей мере в той части, какая взаимодействует с обществом и богами. «Я есмь то, что я способен о себе выразить, и еще кое-что тайное, мне самому неизвестное». Власть христианства, наследника и могильщика эллинства, была — власть слова, причем как в высоком смысле (власть поэзии), так и в низшем (власть риторики). В этом последнем отношении оно дитя эпохи, когда уже не было философов, но только риторы...

Христианство начинало воспитание личности с пробуждения чуткости к «внутреннему себе» и с поиска слов для его выражения. Каждодневная школа молитвы, с готовыми глубокими и богатыми образцами, давала слова для выражения тонких оттенков внутренней жизни. Молитвослов есть настольный психолог — и в то же время поэт. Сказав это, скажем и то, что воспитание *одним* только молитвословом — негодное воспитание. Чтобы увидеть красоту и глубину христианских молитв, надо смотреть на них светским, то есть языческим взглядом.

Тут мы возвращаемся к уже не раз сказанному: мощь и глубина Старого мира, то есть Европы (и нераздельной от нее России) XIX века — от его многоосновности, от того, что «молитвослов» соседствовал с светской книгой. Библия, по счастью, не была *единственной* книгой века. Была — словарем душевной жизни для всякого, кто начинал к ней пробуждаться.

А сейчас... Сейчас мы видим, что «освобождение» человека от излишне сложных способов выражения мыслей освобождает не мысли, а *от мыслей*. Культура — противоположность умственной лени. «Наука» в прикладном, газетном значении, то есть «техника», лени никоим образом не противоположна, т. к. стремится к сбережению усилий, к простоте — когда нужна новая сложность.

Эта сложность потребует новой многоосновной культуры — с различными, независимыми, равновеликими источниками истин. Трудность в том, что такие источники нельзя «создать», можно только унаследовать, ведь всё хорошее получают по наследству — никогда не заимствуют.

Удастся ли нам восстановить нить уничтоженной преемственности?

Тогда мы еще увидим богатый и сложный язык, одновременно *отражающий* и *создающий* богатую и сложную личность.

XXIV. О возвращении в Историю

В этой книге рассматриваются, в основном, два вопроса. Один: почему «Старый мир» был таким плодотворным в культурном отношении и таким питательным для личности? Второй: возможна ли, и в какой степени, «реставрация» старой культуры — не в смысле буквального восстановления бывшего, но в смысле возвращения в Историю. История — Целое, «новый порядок» — часть. Социальная революция есть бунт части против Целого. Иногда такой бунт удается, христианство тому примером, но в нашем случае успех был неполный и кратковременный. Если о на первый вопрос были даны многочисленные и разнообразные ответы, то о втором мы говорили очень мало. На этот вопрос есть два ответа: и *да*, и *нет*.

«Нет» — потому что восстановить неповторимое сочетание враждебных и притом взаимопитающих источников истин невозможно, а именно такое неповторимое сочетание привело к появлению старого культурного порядка. Он родился не из выбора какой-то «единственной истины», а из сочетания почвы и удачных и притом разнородных, а то и враждующих между собой, влияний, эту почву удобряющих. Плодотворность старого, языческого мира (когда «единая истина» еще не вошла в мир) и нового времени (когда она уже уходила) — пример того, что «Истина» не освобождает, освобождают «истины». Не следует, правда, смешивать множественность истин с нигилизмом и всеобщей относительностью понятий (на чем пока что остановился наш век).

«Да» — потому что невозможное для общества возможно для личности. Мы не можем восстановить старый порядок, но можем вернуться, в умственном отношении, на историческую почву. Иной реставрации, кроме культурной, и быть не может. Более того, я думаю, что пока возможно большее число мыслящих личностей на эту почву не вернется — у некогда великой русской культуры не будет будущего, но только блестящее прошлое.

Потерю почвы на свой лад пережила и Европа, но здесь я говорю прежде всего о России. Победа «нового порядка» в Европе была кратковременной (12 лет национального социализма в Германии), и ничего сравнимого с поголовным изъятием прежнего культурного класса из жизни, какое знает Россия (эмиграция, высылка, уничтожение, приведение к молчанию), ни одна европейская страна не переживала. И там старая культурная почва слабеет, но гуманитарное знание на Западе не превратилось еще в пустой набор слов, как это случилось у нас, и классическая филология, история религии (говорю о том, что знаю) — живы и продолжают искать правду о человеке...

При нынешних условиях такое возвращение может быть только *личным усилием одиночки*. Обстоятельства современной культуры ему предельно враждебны. Однако такое усилие возможно, и на основании личного опыта я попробую его описать.

1

О какой «почве» мы здесь говорим? Прежде всего — о почве для умственной и духовной жизни, т. е. для образования личности. Спор о старом и новом порядках — спор о человеке, об условиях, благоприятствующих развитию личности.

Опыт последнего столетия разрешил этот спор безоговорочно: «передовое», «истинно-научное», «социалистическое», «либеральное» ведет только к упрощению и оглуплению человека. Не потому, что все названные источники вод отравлены. Но потому, что все перечисленные силы желают быть, каждое — «единственной истиной». Единая истина порабощает. Единая истина означает человекоубийство. Все виды «передового мировоззрения» так же нетерпимы, как христианство, но лишены его эллинской сердцевины — внимания к личности, выражающей себя словом.

Надо упомянуть, что понятие «почвы» у нас в России замутнено многолетними заблуждениями народников. Поклонение «бедному и простому» (последовательно христианское по своей сути) причинило нам много вреда. Из «бедного и простого» *ни при каких обстоятельствах* не получится богатого и сложного. Это «сложные» формы поведения постепенно накапливаются, а не «простые» совершенствуются до сложных. Сложное присуще человеку изначально, от рождения. Бедность и простота — всегда вынужденные.

Если мы можем питаться соками определенной *почвы*, то *формы*, на этой почве когда-то стоявшие — быт, государственный строй, религиозную жизнь — восстановить нельзя. Исторические формы, при всем их обаянии, и вырастали исторически, из века в век. Их можно унаследовать, ими можно вдохновляться, но их нельзя воссоздать. Ни быт, ни строй, ни религию нельзя «ввести» приказным порядком; вернее сказать, можно (и такие попытки называются революциями), но только ценой всеобщего разрушения.

2

Могут сказать, что возвращение к культурной почве непосильно для большинства. Однако *большинству* программа созидания культуры и не предлагается, большинству нечего делать с культурой. «Равное просвещение для всех» — великое заблуждение. Общенародный просветитель получает, в конечном итоге, множество людей, неспособных как к умственному, так и к физическому труду.

К первому они неспособны, от второго отучены. В этой среде и разливается полуобразованность.

Культурный труд — дело небольшой части нации, «элиты». Само значение этого слова сегодня неясно. «Элитой» у нас называют богатых и сильных. Весь смысл отбора, отсева, избранничества, различимый во французском *élite*, у нас пропал. Кто отбирал этих сильных? Никто, сами пришли и всё взяли силой.

Еще одно возражение надо отвести. Говорят нередко: «Большинству это не нужно, его вполне устраивает то, что есть». Но, во-первых, большинство в этих вопросах и не имеет голоса, и во-вторых, *то, что есть*, никогда и ни при каких условиях не обладает принуждающей силой. Как говорил Вл. Ходасевич:

«Существуетъ нѣкое трагическое недоразумѣніе въ нашемъ воспріятіи исторіи. Давно уже, не со вчерашняго дня, повелось такъ, что мы привыкли оцѣнивать ея враждующія и смѣняющія другъ друга эпохи не по существу, не по ихъ объективнымъ свойствамъ, но по признаку хронологической послѣдовательности. Мы какъ будто заранѣе условились все послѣдующее считать лучшимъ, нежели все предыдущее, все новое благоговѣйно предпочитать всему старому. Знаемъ погрѣшимость человѣка и человѣчества, видимъ ошибки и заблужденія цѣлыхъ періодовъ историческихъ эпохъ, наблюдаемъ паденія высокихъ царствъ и культуръ, — и все-таки, вопреки всему, тайно или явно исповѣдуемъ нѣчто въ родѣ догмата о непогрѣшимости исторіи. Отсюда возникаетъ то, что одинъ историкъ искусства зоветъ «раболѣпствомъ передъ современностью», которая всегда есть послѣдній, а потому въ нашихъ глазахъ какъ будто и «лучшій» этапъ исторіи... Мы поклоняемся всякой современности, не разбираясь въ ней, потому что для насъ, идолопоклонниковъ историзма, все фактическое стало благословенно».

История не «непогрешима». Она то, что случается с теми, кто устал бороться. Всякая высшая культура создается помимо, если не против воли большинства. Большинство желает *развлекаться*, и всякая полукультура, подделка под культуру удовлетворяет прежде всего именно это желание.

Можно возразить и так: я поднимаю руку «на историю». Однако пафос уничтожения истории свойствен как раз «новому порядку». Он постарался не только уничтожить, но и оклеветать Старый мир, сделав невозможным его возвращение (здесь социализм бессознательно повторял ненавистное ему христианство; Единая Истина требовательна и терпит только мертвых соперников). Как говорил один из деятелей революции, «тем, кто будет строить после нас, придется строить на кладбище». Он почти не ошибся. Когда-то плодородное поле культуры стало кладбищем.

3

Самое большое заблуждение относительно прошлого — будто оно «прошло». Во времена упадка, прошлое — живая и действенная сила для того, кто сумеет к ней обратиться. Единственное достоинство настоящего в том, что оно не требует от нас никаких усилий, оно просто есть, только протяни руку. К сожалению, достоинства *нашего* настоящего на этом и заканчиваются.

Некоторые умственные связи нам придется разорвать, некоторые создать; многие оценки пересмотреть; от многого отшатнуться. Но это не только труд, и совсем не насилие над собой. Традиция, всё *сложно-богатое* умеет вызывать любовь, так что стремиться к нему нетрудно, особенно если это стремление отталкивается от почвы бедной и темной — а иначе почву «нового порядка» определить нельзя. Да, не всех притягивает трудно-прекрасное, но все же его обаяние естественно и общечеловечно.

4

Культура основывается не на «рациональных основаниях», а на определенных верованиях. Целый ряд современых культурных верований затрудняет возвращение к исторической почве. В основном это верования, насажденные «новым порядком» путем внекультурного принуждения — или же такие, которые *привели* к появлению «нового порядка». Эти верования придется или переплавить, или прямо отбросить. Есть эпохи, которыми нельзя питаться, которые невозможно любить — их можно только принять к сведению, несмотря на весь барабанный бой и всю трескотню, какие они производили. От культурного наследия революции придется, как говорил Г. Барабтарло, «отшатнуться»:

«Помочь общему возрожденію не только словесности, но и вообще русской цивилизаціи могло бы безусловное и массовое отшатываніе рѣшительно отъ всего, произведеннаго совѣтской властью, какъ отшатываются съ отвращеніемъ отъ порчи или заразы, и это едва ли не въ первую очередь относится къ рѣчи, во всѣхъ ея формахъ, въ томъ числѣ и письменной (литературный языкъ — послѣдняя и наименьшая забота)».

Поклонникам «историчности» в ее урезанном, ограниченном только «новым порядком» виде надо сказать: да, после конца Старого мира события на карте России происходили, их было много и были они устрашающими, но история русской культуры здесь остановилась. Самосознающее умственное развитие прекратилось у нас в 1930-е годы, и последним его очагом была *Белая эмиграция*. Вопросы, которые ставил русский ум во «внеземельной Руси» (выражение Н.

Чебышева), сохранили ослепительную злободневность. Россию же поглотили сумерки безмыслия, выхода из которых пока не видно. Этим сумеркам ничуть не мешало развитие техники, которым так кичилась «народная власть».

Можно сказать, конечно, что русский человек не нуждается в самосознании и свободе, что это ядовитый дар Романовых, от которого нас освободила «народная власть»... Но это пустая отговорка. Высшие способности *естественны*. Где нет высших способностей — они или подавлены, или утеряны, или не имели возможности развиться. «Зерократия» (как говорит П. Муратов) всегда неестественна и достигается только насилием.

Возможно и другое, более обоснованное возражение: на высшие способности у большинства нет досуга, оно поглощено борьбой за существование, так зачем выдвигать идеал, доступный только меньшинству? На это есть два ответа. Во-первых, все высшие идеалы суть идеалы меньшинства, т. к. достигаются трудом и усилиями, да еще требуют способностей и огранки этих способностей воспитанием. Во-вторых... в культуре есть свой закон «сообщающихся сосудов», благодаря которому высшие формы порождаются отдельными умами, усваиваются меньшинством и затем распространяются вширь и вглубь. Разлитие культуры «сверху вниз» прекращается или там, где ему ставят искусственные препятствия, или там, где сам «верх» уничтожен (случай «нового порядка»).

Мыслящему человеку сегодня нужно в своем уме прожить последний век *заново*, как прожила бы его русская мысль, сохранив свободу и жизнь. Нужно очищение ума от всех порождений «нового порядка» в слове и мысли. Того, кто задумает питать ум «советским» — ждет безъязычие. Из русских авторов — нужно чтение только писавших в России или во *внеземельной России*, а из последних — тех, кто культурно был связан со Старым миром (потому что потеря почвы в те годы была явлением общераспространенным; даже Белая эмиграция имела в основном либерально-социалистический облик, за исключением своего *золотого остатка*, у которого мы и можем сегодня учиться).

Отбросить придется и веру в «прогресс», технические усовершенствования жизни как путь к счастью — то «слепое пристрастие к новизне», о котором упоминал Пушкин по поводу Радищева. Отказаться от всех иллюзий равенства и демократии. Вообще отказаться от веры в спасительность «формул», «идей», в том числе и политических идей Старого мира.

Восстановление прежних форм государственности и религии не может быть нашей целью. Да, монархия в русской истории была культурообразующей силой, в отличие от «нового порядка», но наше будущее с ней не связано *неразрывно*. При этом надо признать, что республики на русской почве пока еще не было,

кроме Новгорода. А после 1917-го этим словом называлась и прямая анархия, и олигархия, и тирания, и (в последнее время) конституционная монархия. Скажу одно: не бывает жизнеспособной республики без гордости и честолюбия граждан. Это условие исполнялось в Риме и Новгороде и не исполняется в известной нам России. У нас, к сожалению, гордость и честолюбие сочетаются только с *отсутствием* почвы и нравственности.

Нам придется забыть все предрассудки относительно аристократии и аристократичности. Культура вся аристократична. Всякая форма аристократична. Аристократия — принцип отбора и роста. Аристократичность означает требовательность к себе и другим ради лучшего, высшего облика человека. Это противоядие против разлитого революцией яда, выражаемого словами «*будь как все!*»

Потому среди вещей, от которых придется нам отказаться, будет и презрительное отношение к личности, свойственное социализму, и свойственное ему же поклонение «массам». Массам вопросы культуры не нужны и не важны, потому они и живут в действительности, созданной не ими.

Отказаться придется и от коренного интеллигентского убеждения, выражаемого словами «власть надо ненавидеть». «Пусть судятъ о власти по дѣламъ ея», говорил ген. Врангель, так надо и нам поступать. Недопустима ненависть к власти, стране, всему русскому — только потому, что они не иностранные.

Пересмотреть придется и отношение к родине. «Отечество надо ненавидеть» — это не вчера у нас началось, но при новом порядке расцвело как никогда прежде, в силу общеочевидной его неполноценности, помноженной на ложную самооценку. Когда интеллигентский кумир поет о «родине-уродине», он признаётся, что родина для него — не поколения, не история, не вечно живое прошлое, а *это мгновение прямо сейчас*, так непохожее на блестящую заграницу. Представление о «западном» как более подлинном, полнокровном, первоисточнике, с которого все русское только список — у нас тоже не новое, но своего расцвета достигло при «новом порядке» с его воинствующим бесплодием во всем...

Отказаться придется и от веры в неизменно зловещую роль религии, и от «единственно-верного» материалистического мировоззрения — как такого, чьи предсказания никогда не сбываются, а объяснения человека и общества никуда не годятся (впрочем, надо сказать сразу, что религия есть плод внутреннего опыта, ее не приобрести волевым решением. Приобрести можно только *смирение и чувство мировой тайны*, от которых отводит всякое полуобразование.)

Нужно сказать и подчеркнуть: освобождение от социализма не означает механического восстановления, например, «христианского мировоззрения», более

того: христианство есть почва социализма, а социализм есть плод разложения христианства.

Некоторым кажется, что обратное превращение социализма в христианство что-то изменит к лучшему. Однако христианство свой путь уже совершило. С XV века в Европе, с XVIII в России мы видим богатую и пышную языческую Реставрацию. Все культурные формы, нас питающие, суть формы языческие. Желание «восстановить христианскую государственность» благочестиво, но лишено исторического смысла, т. к. она давно уже, много столетий как *многоосновная*, христианская только в одной своей части.

Христианский *быт* Старого мира, скрепляемый церковным обычаем, сейчас бросается в глаза и кажется определяющей чертой эпохи — но это ложное впечатление. Культура Старого мира отнюдь не определялась христианством. Достоевского, скажем, считают христианским мыслителем. В действительности Достоевский мог появиться только на изломе «единой истины». Сила его мысли — в сомнении. Культурный класс конца XIX — начала XX века был христианством глубоко затронут, но не сформирован. Таким образом, в отношении к «единой истине» я не проповедую ничего такого, чего бы уже не было в последние века Старого мира. Она давала этому миру религию и мощный, независимый источник истин; место это и впредь не будет пустовать...

Кроме того, реакция против социализма вообще не может быть реакцией в пользу очередной «единой истины» (иначе в ней просто не будет смысла). Нам нужно возвращение к широте и богатству жизни; «единая истина» враждебна тому и другому. Любые истины могут нами приниматься только местно и ограниченно, в меру их пользы. Как говорил П. Муратов:

«*Мы несомнѣнно живемъ въ эпоху политическаго прагматизма, можетъ быть даже только политическаго практицизма*. Такъ, демократія, предписываемая намъ въ качествѣ абсолютной истины, заранѣе вызываетъ нашъ отпоръ. Но демократическое устройство, разсматриваемое съ точки зрѣнія практической примѣнимости къ нуждамъ Россіи, съ точки зрѣнья полезной службы Россіи, можетъ быть спокойно обсуждаемо, какъ одна изъ возможностей, имѣющихъ и за себя, и противъ себя жизненныя данныя. Россія не должна служить ни коммунизму, ни соціализму, ни демократіи, ни федераціи, ни имперіи. Но жизненное преломленіе одной изъ этихъ общихъ соціальныхъ и политическихъ идей можетъ въ какой-то моментъ *сослужить службу Россіи*».

Отказаться следует и от *нестерпимого морализма*, неотделимого от народничества, т. е. не просто от преобладания моральных оценок, но от прославления *бедного и простого*. Этот морализм глубоко коренится в христианстве и есть его

последнее (обезбоженное) превращение — и в то же время основа и почва для социализма.

Нас ждет и перемена отношения к науке. Придется признать, что большая часть того, что полуобразованность полагает «наукой» (в особенности в том, что касается знаний о человеческом), — не более, чем набор ученых слов, за которыми не стоит никакого знания, в лучшем случае — полузнания, наскоро примененные к не понятому до конца предмету.

Пример поддельного гуманитарного знания:

«Дихотомия "Тело - Душа / Ева - Психея" рассматривается как эстетический код отображенного мира в его вариативности, носящий в творчестве М. И. Цветаевой ключевой и сквозной характер. Такой ракурс позволяет проследить движение мысли автора, раскрывающее новые грани его поэтического мастерства, эволюцию в художественном наследии поэта, увидеть отражение двух типов художественного сознания».

Или другой:

«Импрессионистичность, активность подтекстово-ассоциативного уровня текста, апелляция к архетипическим праистокам национальной ментальности, способствовавшие формированию „духовного реализма“ писателя, анализируются на примере и дооктябрьского пласта прозы Х., и его творчества эмигрантского периода».

Потраченные на эти пассажи чернила дороже заключенных в них мыслей. А мысли здесь неясны самому мыслящему, т. к. выражены не имеющими определенного значения, туманными словами (разговор об этом был в эссе «Безъязычие»).

Что же касается той науки, которая дает человечеству бомбы и самолеты, то ее имя скорее «техника», и поклоняться ей, ждать от нее разрешения мировых вопросов, как было еще недавно — неуместно. В качестве источника ценностей она потерпела неудачу; в качестве поставщика благ — также, поскольку все эти блага отравленные, сопряженные со скрытыми потерями, о которых не принято было задумываться.

5

Все то, от чего нужно отказаться ради возвращения к исторической почве, по некоторой злой иронии входит в список интеллигентских добродетелей, или вернее сказать — добродетелей полуобразованного класса. «Интеллигент» стоит

вне истории. У него нет прошлого, одни надежды на будущее. Вернуться в историю — выйти из интеллигенции и войти в растущий на национальной и исторической почве культурный класс.

Нельзя смешивать «интеллигенцию» и культурный класс. Интеллигенция — только приготовительная ступень на пути к культурному классу. По ряду причин (слишком быстрое разлитие просвещения, устранение высшей культуры) эта ступень увидела себя целью, а не средством. Интеллигент есть временное явление, военный «чин ускоренного производства».

Интеллигент — не то же, что «человек культуры». В первую очередь он человек, потерявший *содержание* своей религии, но не ее *отношение к вещам*. Как бывший христианин, он верит в единую истину и ждет ее победы. Как материалист, он ищет эту истину на земле. Еще недавно его вера называлась «социализмом»; только провал «нового порядка» подорвал доверие к этому слову. Он верит, что прошлое отвратительно; что одно будущее имеет ценность; что перейти из прошлого в будущее можно только через покаяние и самоумаление. Сильные в «царство будущего» не войдут. Надо заметить, что «покаяние» и «самоумаление» в этом построении — всегда *чужие*. Интеллигент не знает иного миропорядка, кроме нравственного, но *себя* нравственным судом не судит.

Он отчасти напоминает хорошего, «духовного» христианина и в некоторых других отношениях. Библейское «странники и пришельцы мы на земле» — относится к обоим. Я говорю о «духовном» христианине не просто так. Достоинство христианина, твердо стоящего на своей исторической почве, и вправду под некоторым подозрением; «да не язычник ли он»? И верно: патриотизм в христианство всегда пронесен контрабандой из язычества, этого вечного источника любви к *своей родине и своим богам*. Такой несовершенный христианин и Бога-Творца, и христианских святых считает русскими... Тут противоречие вроде давно указанного Розановым:

«Монахъ можетъ сблудить съ барышней; у монаха можетъ быть ребенокъ; но онъ долженъ быть брошенъ въ воду. Едва монахъ уцѣпился за ребенка, сказалъ: „Не отдамъ“; едва уцѣпился за барышню, сказалъ: „Люблю и не перестану любить“ — какъ христіанство кончилось».

Одно дело, когда «чаем грядущего Иерусалима», и другое, когда привязались именно к своей стране и ее почве, и другой нам не нужно. Такое христианство всегда сомнительно, т. к. не всемирно (и Лев Шестов не зря подозрительно

присматривается к тайному язычнику Достоевскому: почему тот всё говорит о «православии» и ничего о «христианстве вообще»?)

Национальное в христианстве — всегда измена, тайное язычество. Совестливый христианин стыдится богатого, пышного, яркого в религии своей страны, приговаривая: «Национализм и язычество» (патер Добровольский, упоминаемый у Н. Трауберг). Однако же эта «измена» в христианстве — самое крепкое, более прочное, чем бывшие «за морем» соборы. Только национальное крепко. Интеллигент подобен христианину, он добросовестно всемирен. Источник его веры — «за морем», святые — «за морем», чудеса — «за морем». По эту сторону моря у него только «родина-уродина» — нечто с его личностью несвязанное, «случайность рождения». Как герой старой комедии, он может сказать о себе:

«Тѣло мое родилося въ Россіи, это правда; однако духъ мой принадлежитъ коронѣ французской».

Однако сходство интеллигента и христианина неполно. Самоуглубление свойственно только одному из них, а самоуглубление, вера в свою личную ценность — начало культуры. Интеллигент не ценит себя, а потому легко растрачивает полученное дарование и самую личность. Но хуже всего то, что он видит в себе конец и вершину развития. Быть выше интеллигента уже нельзя, можно только взойти, если повезет, на его высоту.

...Несмотря на все сказанное, культурный подъем через возвращение на историческую почву не требует от нас борьбы с чем-то внешним, будь то «интеллигенция» или «наследие революции». В области культуры вопрос не в том, *против чего* бороться, а в том, *чем быть*. Этим культура отличается от политики, которая вся — искусство правильно нацеленной вражды. В начале этого очерка я заметил, что в нем описывается путь личного освобождения. То, что слой прошедших среднюю и высшую школу враждебен самой идее такого освобождения, т. к. удовлетворен существующим положением — не может нас остановить, если у нас есть желание приблизиться к старой культуре и продолжить ее нашими трудами.

XXV. Бедное и простое

1

Наверное, мало кто из осуждающих «царскую» Россию отвергает и созданную ей культуру. Пушкина и Гоголя, а под конец — и Достоевского, признавали даже при «новом порядке». Но признавая преимущества культуры, т. е. плодов умственной и чувственной жизни, мы должны признать и то, что сама эта жизнь при «старом порядке» была богаче и плодотворнее нынешней, во всяком случае, на своих вершинах.

На какой почве же выросли авторы от Пушкина до, говоря условно, Ходасевича? В чем отличия этой почвы от нынешней? Одни скажут: на почве православия. Другие: на почве русской культуры (будто бы единой для всех времен). Третьи вспомнят об Арине Родионовне, т. е. «народном влиянии».

Второй и третий ответы — наверное, самые распространенные. Мы или не видим ничего особенного, свойственного только *этой* культурной линии, или готовы признать, что ее подпитывало «народное» (читай: простонародное) влияние. Тогда спросим: почему же русская почва только между *Восемнадцатым веком* и *Восемнадцатым годом* давала такие плоды? По-видимому, что-то особенное было в этой почве или *над* ней.

2

Плоды разрыва с прежней культурной линией (чтобы избежать двусмысленного по причинам, которых я коснусь позже, слова «почва») стали видны сразу после конца Старого мира. Эти плоды: *обезъязычивание* образованного слоя и *обезмысливание* культуры (не одной только литературы, т. к. болезнь поразила и науку).

Литература ведь только та переживает свою эпоху, к которой приходят за вечными вопросами. Она питательна для души. Все, произведенное революцией в области культуры, питания для души не содержит и потому будет отброшено: это литература техническая, поверхностно просветительная или развлекательная, не говоря уже о «литературе услужающей». Сложные мысли и чувства ушли из нее одновременно со сложными средствами выражения — выработанным литературным языком и его (повторю это снова) выработанным и умным, воспитывающим читателя правописанием.

Кстати о правописании. Правила письменной речи — совокупность условностей, у них есть не только утилитарный смысл. Письменная речь должна быть красивой; письменная речь должна быть связана с прошлым, т. е. с преданием.

Чисто утилитарный подход к правописанию угашает и эстетическое, и патриотическое чувство. Утилитарная русская орфография отличается от *исторической* как манекен от женщины: пропорции те же, любить — невозможно. [24]

Если правописание и *одежда языка*, т. е. самый поверхностный его слой, то и *самый заметный* и, в своем роде, священный, потому что идет от предков. Мерой «удобства» эту одежду не измерить. Утилитарное написание не только некрасиво, но и не достигает цели, заявленной при его введении: сколько бы русская орфография ни упрощалась, грамотно пишущих не становится больше (скорее наоборот).

Средства выражения непосредственно влияют на мыслительную способность, определяя доступный ей уровень сложности. Ум, в важнейшей своей части, — не фабрика, но дверь, и наше восприятие того, что открывается за этой дверью, определяется нашей же способностью выражения сложных мыслей, т. е знанием родного языка. Мыслительные способности *никогда* не превосходят способностей к выражению мыслей. Глубокое владение родной речью оказывается здесь неоценимым подспорьем, п. ч. все сложные формы выражения уже выработаны, нужно только усвоить их. Нет и не может быть «мышления» на жаргоне, подобном тому, каким пользуются русская наука сегодня: слишком мала его выражающая способность. Можно даже допустить, что для физики, химии, биологии — жаргона может быть и достаточно, но не для знания о человеке и человеческом.

Полукультура, о которой я не раз говорил прежде, жаргоном пользуется и воспроизводится. Будучи не в силах творить новое (выражающей силы жаргона для этого недостаточно), полукультура занимается не порождением смыслов, а переписью уже созданных. Слова о словах, мнения о мнениях — основное ее содержание. Хуже того, в мире «гуманитарной науки», понимаемой как формальное изучение плодов чужого творчества, неприемлема всякая самобытная мысль.

---

[24] Распространено заблуждение, будто традиционная русская орфография пугает малограмотного сложностью правил, а потому их нужно заменить на более простые. Вообще у нас принято считать, что правило, как таковое, есть зло; целью считается правописание «самоочевидное», не требующее думать над строкой. Это во всех отношениях ложно. Во-первых, потому что самоочевидность упрощенного правописания призрачна, а условность (т. е. потребность в простом заучивании) — несомненна. Во-вторых, потому что малограмотный точно так же, как и грамотный, руководствуется правилами, но правилами самодельными, придуманными вместо тех, которые он не удосужился выучить в школе — например, когда пишет «по-нравилось» или «по-нарошку». Никакой естественности и простоты в этом написании нет; есть только смутное воспоминание о написании наречий образа действия «по-старому, по-новому» и уверенность в том, что предлог-приставка «по» во всех случаях сопровождается дефисом. Малограмотный не следует никакой «природной простоте», от которой его будто бы отвлекает историческое правописание. Он творит правила на ходу. Современная письменная речь в России пестрит самодельными правилами, выдуманными взамен общепринятых. У этой подвижности письменной речи, пусть и в худшую сторону, есть и обнадеживающая сторона: нет никакой «нормы», есть *сумма отклонений*. Отчего бы нам, в таком случае, не ввести новое отклонение, уже в сторону традиции?

Ведь мысль «ненаучна»; мысль не «изучает» наследие *X* и опечатки в трудах *Y*; мысль определяет новые смыслы — а это недопустимо. «Смыслы были когда-то в прошлом; наука доказала, что никаких смыслов нет»...

3

Разрыв с прежней культурной линией убил и *личное своеобразие*. Да, оно подавлялось «новым порядком» намеренно (такова природа социализма). Но последовательное уничтожение прошлого, если так можно выразиться, само по себе устраняло возможность высшего развития личности.

Не имеющий прошлого — значит «безликий», как построенные «новым порядком» города. Возможность своеобразия дается только под условием обладания памятью. Без почвы «личное своеобразие» сводится или к безобразию, нигилизму — или к выбору одного из дозволенных местом и временем «увлечений». Так было в России, когда пятидесятилетний гнет «нового порядка» ослабел: люди устремились к отдушинам «хобби», мелких частных интересов, не предполагающих высоты личного развития; так обстоит дело на Западе, где можно «свободно выбирать» из дюжины одобренных политикой и промышленностью развлечений.

Старый порядок был, без преувеличения можно сказать, основан на личном своеобразии. Распространено заблуждение, будто бы и демократия поощряет своеобразие — но это именно заблуждение. Демократия поощряет принадлежность к стаду. Правда, ввиду промышленной и политической конкуренции, поощряется не одно большое Стадо, а несколько меньших. Обслуживание нескольких малых стад более выгодно с точки зрения политической и хозяйственной. Более того — эти «малые стада» иногда создаются промышленностью и в интересах промышленности. Личности предлагается «самовыражение» в удобных для политической и промышленной машины формах...

Культура отличается от демократии тем, что создает немного центров притяжения, но на большой высоте, достижение их требует усилия. Демократия разбрасывает свои приманки в пределах досягаемости, их много, и чтобы достичь их, не требуется усилий. Пить это или то, красить волосы так или иначе — все эти возможности не понуждают к усилиям. Люди и рады были подражать не простому, доступному и глупому — а высокому и сложному, да некому им его предложить...

4

Когда в России умирал «новый порядок», возник — впервые за долгое время — тайный, неотступный интерес к почве, «народному». Народное, правда, понималось тогда исключительно как «простонародное», почва — как крестьянский

быт. Надо сказать, что так оно понимается и до сих пор. Это понимание ложное, хотя и укорененное в России. Александр Салтыков († 1940) верно говорил об этом «возвеличении простонародного»:

«„Народное“ чрезвычайно легко понимается какъ простонародное.

Вотъ почему отъ возвеличенія „народнаго“ къ возвеличенію простонароднаго — одинъ шагъ. Въ эту діалектическо-психологическую ловушку въ свое время попали и ушли съ головою славянофилы.

Какъ бы то ни было, стихія „простонароднаго“ безконечно далека отъ націи и всѣхъ связанныхъ съ нею творческихъ цѣнностей жизни. Оно, простонародное, не только не составляетъ націи, но вообще не можетъ создать ничего: ни государства, ни культуры, ни воли къ общему дѣйствію, ни даже языка. Простонародное это: „мы — калуцкіе“. Нація же, — хотимъ ли мы этого или не хотимъ и какъ это ни претитъ нашему „демократическому“ чувству или предразсудку, — нація создается и живетъ элементомъ непростонароднымъ».

Если мы ценим стиль личности, созданный Старым порядком, то не в «народном» следует нам искать его корни. Снова напомню слова Салтыкова:

«Пусть это звучитъ «анти-демократично » и не въ духѣ нашего времени, но языкъ, культура и даже сама «нація», которой языкъ и культура служатъ лишь выраженіемъ, живутъ въ высшихъ, просвѣщенныхъ классахъ общества и ими-же создаются. Языкъ, нація, культура — все это есть нѣчто духовное, имѣющее мало дѣла съ физіологическимъ и этническимъ существованіемъ массъ».

Почва, особенным образом плодоносившая у нас от XVIII века до Восемнадцатого года, не была почвой «народной». Наша самобытность «не от сарафана», как верно говорил Белинский. Самобытность эта создана сочетанием европейских выучки и техники, европейского же классического (т. е. языческого) наследства, церковно-славянской культуры. Сочетал их Петр, а разлучила революция.

Романовская Россия (прежний культурный мир) невыводима из старой Руси, из «почвы». Русь не имела и боялась языческого (греко-римского) наследства и была бессловесна. Россия вошла в права этого наследства и измерила личность словом по эллинскому примеру. «Если россійская нація родилась, какъ нація, въ стилѣ европейской культуры, — говорит Салтыков, — то она можетъ, очевидно, только ею и быть или прекратить свое существованіе». Основу этой нации заложил Петр.

Достоевский в «Фантастических страницах „Бесов“» говорит:

«Вся реформа наша, съ Петра начиная, состояла лишь въ томъ, что онъ взялъ камень, плотно лежавшій, и ухитрился его поставить на кончикъ угла. Мы на этой точкѣ стоимъ и балансируемъ. Вѣтеръ дунетъ и полетимъ».

Пророчество сбылось. Как многим казалось — в силу непрочности петровского дела. В действительности, любой плодотворный порядок недолговечен, потому что образуется влияниями взаимовраждующих и *почти* (непременное условие) равносильных начал. Нарушение равновесия его уничтожает.

Наилучшие плоды дает сочетание несочетанного прежде, разнородного, дальнородственного. Новая Япония создана таким же сочетанием дальнородственных сил, «японства» и европейства. Я говорю: «родственных», потому что Япония не чужда Европе, скорее — предельно от нее отдалена, но все же понятна и даже притягательна для европейских ума и чувства, в отличие от Китая.

Петр создал у нас *многоосновное общество*, привив римские ветви к русскому дичку. Без этого «римства» не было бы ни романовского величия, ни русской культурной и деловой выправки, в последний раз блеснувшей в Белом Крыму и в эмиграции. Бердяев, кажется, говорил, что «еврей и русский без своего Бога никуда не годятся». Относительно первых не спорю. У вторых же — все лучшее от прививки римских *твердости и достоинства*.

Ведь что такое «европейство»? Твердость форм; личная выправка; языческое (эллино-римское) наследство; аристократичность, разлитая в массах. Аристократичность, кстати, не следует смешивать с наследственной аристократией. Крестьянин может быть аристократичен; аристократ может быть низким человеком по своим вкусам и развитию. Не в происхождении дело, а в том, что культура, как сумма отличий, всегда аристократична. Культура никогда не «уравнивает» человека с другими — только тянет его вверх.

Революция плоды этой прививки уничтожила, вообще растоптала личность, и самое лучшее, что ей удалось получить — это тип верного солдата партии или узкого специалиста, не подымающегося выше своей специальности, тот и другой — без собственных мыслей в голове. Эти-то типы нам сейчас предлагаются в качестве национальных героев и вообще образцов личного развития.

Иначе выражая сказанное: русский без *языческих добродетелей* — или «слуга партии», или богомолец прежней Москвы. Петр сделал важное дело: он создал России прошлое, какого она не имела, т. е. нарушил закон, когда-то сформулированный Страховым: ни одно существо не может получить иных предков,

нежели те, которых оно имеет. Так создается культурная преемственность: *приобретением прошлого*. Революция идет противоположным путем: она прошлое уничтожает.

Уничтожая связи с прошедшим, революция вводит образованность вместо просвещения (т. е. по сути *полупросвещение*, о котором я уже говорил). Но одна образованность (не говоря даже о ее качестве) без аристократического и религиозного начал — личности не формирует. Нельзя создать высшего человека (т. е. сложную, сознающую себя и способную к суждениям личность) с помощью одной только библиотеки...

5

Но в петровской постройке была трещина. Не говорю сейчас о том, что европейский образ мысли и чувства не охватил всего народа — высшие умственные привычки всегда спускаются *сверху вниз*, от немногочисленного меньшинства к большинству... Изъян был в другом месте. Богатство и сложность страшили многих в России задолго до конца романовской эпохи. Хуже того: едва ли не национальной идеей у нас стало поклонение *бедности и простоте*. Рука об руку с ним шло желание «одной правды для всех». Здесь «оевропеенная» Россия отличалась от своего образца — Европы.

Европеец, в отличие от русского, понимает, что есть разные истины для разных случаев. Русскому наблюдателю это кажется лицемерием и неискренностью. На деле, в этом источник (иссякший) европейской силы. В многообразных обстоятельствах, от королевского дворца до заморских колоний, европеец вел себя сообразно с этими обстоятельствами. Русский идеал — одна правда на все случаи жизни; в практическом применении — одна и та же простота, исчезновение всех оттенков, неизбежное понижение уровня.

Русская культура была настолько иерархичной, насколько и европейской. Там, где европейские влияния кончались, начиналась тяга к равенству и простоте. «Интеллигенция» — класс, который из всех европейских прививок познал только образованность. Неудивительны ее шатость и жажда «народности», т. е. желание «быть как другие», в особенности «бедные и простые».

Высшее развитие познается по *желанию особности*. Разрыв, вызвавший революцию, был разрывом между естественной тягой к самобытности, сложности и развитию — и жаждой «быть как все», т. е. опроститься. Опрощение победило — начиная с Орфографических совещаний и кончая мартом-ноябрем 17-го.

Начиналось оно невинно. Поиски «почвы», интерес к «народному» — были у нас когда-то естественным ответом на поклонение всему иностранному. Одна крайность всегда уравновешивается другой. «Народ» со временем был понят как

непременно «простой народ»; в «простоте» увидели добродетель. Опрощение в России понималось этически. Быть бедным и простым — *нравственно*. Нравственно хотя бы *приближаться* к бедному и простому. Вспомним «край родной долготерпѣнья», «въ рабскомъ видѣ Царь Небесный»... Говорилось это все людьми непростыми и для непростых. В простоту поверили. Началась полувековая гонка за опрощением...

Только революция довела поклонение «бедному и простому» до логического конца. «Бедное и простое» пригласили править Россией — на словах, конечно, — однако допустимый уровень личного развития, оно же личное своеобразие, тем самым был отмерен скупо. Или бедная простота, или высокое развитие; развитие же всегда своеобразно. Угашение личного своеобразия во всех видах — истинный пафос революции.

Что же касается «народного» в смысле *бедного и простого*, то оно революцией даже поощрялось: частушки и т. д. — конечно, *после* расправы с крестьянством, когда никакой живой культурной преемственности в деревне уже не осталось. Конечно, эта «народность» была непритязательная. Ничего сравнимого, скажем, с «русским стилем» в архитектуре времен последних двух императоров она не создала.

6

Строя культуру, мы поклонялись простоте. Непрочность культуры в России, отсутствие потребности в ней у большинства — прекрасно сочетались с чертами определенным образом понятого христианства: *бездомностью и беспочвенностью*. Идеал слабости и бедности — идеал библейский. Революция не случайно кривым зеркалом отражала христианский переворот. Та же «единая истина» без оттенков, та же бедность как идеал. Посмотрев внимательно, в христианстве мы видим революцию (против богатства и сложности древнего мира), в революции — христианство, т. е. поклонение слабому, простому и бедному.

Смысл христианства и социализма (действенный смысл, во всяком случае) не в том, что «нехорошо сильным обижать слабых», а в том, что «хорошо быть слабым» или хотя бы «как слабые». Эту же мысль проводили у нас народничество и опрощенство всех разновидностей, вплоть до филологического: «да опростите же наконец правописание, сделайте его доступным для слабых!..»

Христианство есть *власть через надежду*. Кто владеет людскими надеждами, тот владеет людьми. Однако резервуар надежд взрывоопасен. Христианство, в некоторым смысле — мать революции. Резервуар «надежды», вмененной в обязанность, в мирные годы давал устойчивость христианскому государству, но в

бурные — взрывался, заставляя массы требовать исполнения отложенных ожиданий, причем с процентами. Где не «надеются», там не «отчаиваются». Общество, основанное на надежде, худо защищено от потрясений, больше того — непременно их предполагает.

Русскую революцию можно было бы назвать взрывом ложно направленных христианских чаяний... если бы в главном, в почитании слабости и бедности, в неверии в труд и культуру, эта революция не была дочерью христианства. «*На земле воры; мир во зле; не заботьтесь; будьте как нищие*». Слово стало плотью. Оказалось, что Старый мир был богат и велик вовсе не потому, что был «христианским миром».

Левая идея, говоря шире, всегда связывает этику и «угнетенность» (целиком повторяя библейское мировоззрение). Быть слабым и бедным нравственно; «горе дубам и высоким башням и кораблям Фарсисским». Так же рассуждает новейший западный социализм, применяя старое лекало к новым материям: люди «третьего пола» угнетены — следовательно, они более нравственны, нежели обычные мужчины или женщины; чернокожие угнетены — черный цвет кожи есть признак нравственного превосходства. Впрочем, тут делаются все возможные выводы: то, что делает человека «угнетенным», — и нравственнее, и естественнее, и человечнее...

При этом социализм враждебен всякой богатой и сложной культуре — за то, что она не основана на нравственных прописях, понятных и ребенку. Он естественным образом безнационален (потому что народность, почва — слишком сложны, укоренены в прошлом, заведомо не нравственны). И в том, и в другом он напоминает христианство. Его можно было бы назвать «нравственно чутким». Он столь же чуток к лицемерию, сколь сам к нему склонен. Но чаще всего его негодование вызывается вещами, сложность которых превышает «дважды два четыре» и «мама мыла раму». Культура, родина — все это выше его понимания, т. к. не поддается истолкованию с точки зрения морали. Социализм относится к ним с тем высокомерным презрением, с каким дети судят о чуждой им и к тому же недопустимой для обсуждения половой любви: «гадость какая, правильно мама говорила!» Когда сторонник всепобеждающего морализма берется судить о культуре и государстве, он отвергает их почти в тех же выражениях (Лев Толстой, Лесков во времена своего увлечения толстовством).

Нравственные суждения — самые простые; они не требуют ни ума, ни опыта, ни понимания вещей. Прилагающий ко всему нравственную меру принимает буквально евангельское: «если не умалится кто, как дитя...» Однако в этой детоподобности нет ничего обаятельного. Перефразируя Киркегора, можно сказать: «У

жизни есть тайна от нравственности». Социализм враждебен этой тайне, то есть самой жизни.

Социализм обещает не просто «всѣмъ равный жребій», как говорил Ходасевич, но хочет, чтобы сильные стали, как слабые, богатые — как бедные (не говоря о новейших превращениях этого требования, обращенных на отношения полов). Его цель не численный рост сильных, но умножение слабых, добровольный отказ от способностей, сам по себе, может быть, и требующий силы, но ни к чему не ведущий. Требование вполне евангельское — но без евангельской нравственной строгости. И конечно — подобно христианству, добровольную слабость социализм предлагает не всем.

7

На сказанное выше можно ответить: и хорошо; ваша «культура» не нужна народу, да еще и усугубляет неравенство — пора про нее забыть. Можно и так сказать: что тонкое и глубокое искусство нам не нужно, т. к. не служит цели развлечения масс, а незаинтересованные (т. е. безвыгодные, технически неприменимые, относящиеся к миру человеческого) суждения — тем более, потому что они бесполезны, были роскошью при старом порядке и стали ненужным излишеством при новой. Можно посоветовать искать духовного развития в Церкви и оставить культуру людям мелким, зато предприимчивым, помня завет Дж. Ф. Барнума: «Дураки рождаются каждый день». Но это означало бы оставить всякие мысли о смысле жизни, личного развития и погрузиться, как писал один старый автор, в «материалистические грезы». Погружайтесь — если вы можете и умеете так жить. Мне, однако, кажется, что совсем угасить человеческую тягу к глубине и сложности невозможно.

Что касается сложности и неравенства... Да: культура порождается желанием сложного и состоит в обладании плодотворными отличиями. «Плодотворные отличия» — те, которые изощряют ум и чувство, не сводятся к простому «формообразованию». Примеры пустого формообразования — пресловутые «увлечения», выбор стрижки или жевательной резинки или музыки. Эти увлечения, как я уже сказал, создаются для развлечения масс силами массового производства и сводят все мнимое разнообразие к нескольким серийного выпуска формам.

За поднятыми вопросами скрывается один, главный: зачем вообще существует общество? Есть ли ценность у высшего развития и в чем она? Греки считали своих богов заинтересованными зрителями, *ценителями*; как думает Ф. Нэйден, на этой почве вырастали и цвели искусства. Наша господствующая религия не

ценит творчество. Правда, в новое время общество впитало достаточно языческих ценностей для того, чтобы принять самодостаточную ценность личного развития, выраженного в науках и искусствах.

Не все мы, но все же некоторые из нас верят, что чем выше и чем больше людей поднимется высоко на пути прозрачности и глубины внутренней жизни, тем... тем что? Мы не знаем. Мы догадываемся только, что данные нам способности должны быть развиты до конца, мы даже христианскую притчу о «талантах» давно перетолковали применительно к *нашим* талантам, хотя они-то христианству глубоко безразличны. Словом, мы видим в личном развитии религиозную ценность. Или, вернее, видели, п. ч. «культура для масс» никакого пути вперед и вверх не предлагает, отнимая, к тому же, у человека религию... С нашей стороны это, как и со стороны эллинов — вера. *Кто-то* требует, чтобы мы трудились честно, не разбрасывая полученные дары. И мы следуем этому пути.

8

Но к чему мы можем вернуться? К быту? Государственным формам? Я ставил уже этот вопрос и приходил к неутешительным ответам. Быт, формы, все твердое и определенное — слишком нестойки. «Почва» в культуре — скорее дух, чем обычаи. Бытовая традиция уходит невозвратно. Если мы будем снова русскими людьми романовской выправки, то выправка эта будет умственной, общекультурной. Борода не признак «традиции». Романовский русский был прежде всего *европеец с русскими корнями*. Возврат к традиции в России — это возврат в Европу или, выражаясь словами одной старинной книжки, в «россійскую Европію».

Возвращение к «почве», что касается мысли и слова, можно понимать только как возвращение к *классической* почве, т. е. к русскому европейству романовского стиля — не к тому бедному и простому, что у нас принято считать «почвенным» и «народным». «Народное» и «национальное» (имперско-европейское) у нас в России различны, в этом А. Салтыков совершенно прав.

Другое возможное возражение: зачем нам «романовский стиль», у нас будет все новое. На это я скажу, что второго Петра — не будет, и второй волны европейского влияния в петровском смысле, т. е. усложняющей и творческой, также не будет, потому что нет более той Европы, у которой можно было учиться выправке, творчеству, порядку. Европа *лежит в болезни*, встанет ли и какой — не знает никто.

Главный вопрос русской мысли сейчас — вопрос о преемственности, о непринятом наследстве. В 1920-е годы сложная умственная жизнь ушла из России в

Европу, да так и не вернулась. Это наследие Россия отталкивает. Оно сложно, ей непонятно, ненужно, «не наше». Однако «все это давно было, кончилось, не наше, нам не нужно» — слова пустые. В области духа ничего никогда не кончается; любое наследство находит наследника.

К сожалению, само понятие «духовной жизни» в нынешней России — понятие историческое. Духовная жизнь понимается или как предмет изучения — в русском Париже, в московской Руси, — или как нечто из церковного обихода. Дух личен, неповторим, своеобразен, а следовательно, не «научен»; ценится же «научность», т. е. предельное отсутствие личности в ее трудах.

Конечно же, восстановление линии преемственности не означает простого переноса известного исторического момента в современность. Наша культура жила прежними соками на протяжении, по меньшей мере, 40 лет после падения Старого мира, пусть и «внеземельно», т. е. за пределами государства. Эта «внеземельная Россия» — ближайший к нам источник культурной силы...

Восстановление преемственности означает в то же время разрыв с теми, кто хотел разрыва с преемственностью. Революция неисторична и в историю включена быть не может, несмотря на требования поздних ее защитников. Или вы в истории, или вы начинаете «новый мир» на пустыре. На пустыре вас и оставят потомки.

XXVI. Личность и слово

Отличительной чертой Старого мира была неразделимость *личности и слова*. Эта связь ослабела, стала призрачной, но еще оставалась заметной при «новом порядке» и, кажется, окончательно разрывается теперь. Неограниченная свобода слова для всех лишает слово его прежней силы. Слово, которое отобрали у дурно или хорошо мыслящих одиночек и отдали массам — теряет связь с мыслью и становится развлечением. Отныне можно не беспокоиться о цензуре: в море слов утонет всякий смысл; сапоги естественным путем станут «выше Пушкина». Надо только разорвать незыблемую прежде связь *слова и личности*, и слово перестанет быть силой.

Поговорим о корнях основанной на слове культуры и о ее превращениях в XX столетии.

***

В Старом мире слово воспитывало личность, и словом же эта личность полнее всего выражалась. Вопреки видимости, это не христианская черта (как и вообще уходящий мир не был исключительно «христианским» миром), но эллинская. Что это за эллинство? Вкратце — культура, призывающая личность к широкому и высокому развитию, измеряемому в слове.

Вот суть эллинства, как ее формулировал Исократ: «Обладая способностью убеждать друг друга и ясно выражать любые свои мысли, мы не только покончили с животным образом жизни, но и объединились в общество, основали города, установили законы и изобрели искусства. И почти во всем, что было нами придумано, нам оказало свое содействие слово». Слово как сила, одновременно определяющая и выражающая личность — плод языческой культуры.

Без литературы, поэзии — греки не могли помыслить воспитания. «Поэт, — говорит В. Йегер, — с греческой точки зрения в определенном аспекте ближе законодателю, нежели художник: воспитывающее воздействие — вот что их роднит». И дальше: «История греческого образования совпадает в основном с историей литературы. В первоначальном смысле, которого придерживались ее творцы, литература есть выражение самовоспитания античного грека».

В значительной мере это относится и к нашему Старому миру.

***

Русская история если не от Петра I, то от Екатерины II — отмеряется не столько именами царствующих особ, сколько поэтов (называя этим словом всякого пишущего по вдохновению). Возвышение от Державина, первая вершина при Пушкине, излом Гоголя (переход к моральному служению), вторая вершина

при Леонтьеве, Достоевском и Толстом, постепенное падение прозы и возвышение поэзии в век символизма, одинокая розановская возвышенность и, наконец, третья вершина — русская мысль (чтобы не употреблять потерявшее кредит слово «философия») первой, белой, эмиграции. Затем — унылая равнина «советской литературы» без мысли и страсти; и наконец, низины постыдной литературы «почесывания пяток».

Может показаться, что говоря о языке как мере развития личности, обращаясь к русской литературе как свидетельнице личного развития поколений, ее создававших, я впадаю в обычное для России преувеличение, вернее сказать, подмену: подмену развития нации развитием литературы.

Об этом когда-то говорил Розанов: начиная с Гоголя мы больше сил вкладывали в литературу, чем в жизнь; жизнь слабела, литература цвела. Нечто подобное произошло в Америке с кинематографом. Кинематограф там подменил жизнь, вернее, дивно ее истолковал: сгладил противоречия, скрыл слабости, выпятил сильные стороны. Русская литература действовала в обратном направлении. В стране, жизнь в которой была и полной, и достаточно свободной, и шедшей скорее к богатству, чем к бедности, для возможно большего числа людей — эта литература запечатлела *неполноценное, слабое и бедное*. Делала это она из моралистических соображений, о которых мы не раз говорили. «Заставить как можно большее число людей испытывать стыд» — это движущая сила не только христианства, но и наследовавших ему светских общественных движений.

Однако литература (или любое другое искусство) не должна подменять собой жизнь, быть ей «зеркалом» — кривым или предписывающим. Литература вообще не имеет никаких нравственных или этических обязательств. Но при этом она создается высокоразвитыми личностями и, силою вещей, создает новых личностей. Литература — школа; поэт — учитель.

***

Естественное развитие литературы и личности, т. е. путь к «цветущей сложности» и богатству, осложнялось в России местными особенностями.

С нашей тягой к народному, понимаемому как простонародное, и достоинство литературы видели в ее «народности». Достоинство речи, однако, в ее содержании. Самый богатый мыслями русский писатель — Достоевский — писал языком совсем не «народным», и вовсе не «народен» по содержанию. То же и Пушкин.

К народному языку они прислушивались, не более. «Народность» — у Некрасова, у Лескова (отчасти; и ломания языка у Лескова немало), но мыслей эти писатели по себе не оставили. [25]

Чтобы говорить у нас о литературе, надо прежде всего расчистить завалы, оставленные «освободительным движением», начиная с добролюбовского: «*литература представляетъ собою силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандѣ, а достоинство опредѣляется тѣмъ, что и какъ она пропагандируетъ*». Это противоестественное понимание царствовало долго, приведя в конце концов к усталости, пресыщению и вере в то, что литературе всякие ценности должны быть чужды, т. е. к нигилизму — последнему выводу из «нового порядка». Вышедшая из-под опеки русская литература принялась пересмеивать все прежде написанное, радуясь избавлению от пропагандной и морализаторской роли. Однако этот пьяный загул — не избавляет от раздумий об *истинном* значении литературы. Это значение — воспитательное; прежде всякой морали, прежде всякой пропаганды. Воспитание глубже и тоньше нравственности и политики; его задача — воспитать личность, а не преподать манеры или убеждения...

С этой ролью русская литература справлялась тем лучше, чем меньше пеклась об исправлении мира или человека, т. е. чем меньше было в ней морали. Начиная с Гоголя, наша литература захотела Единой Истины, стала на путь наступательного морализма, т. е. на путь христианский или «левый».

Что если не предопределило, то обосновало будущие события. Если *исторически* революция была случайностью — день 8 марта 1917 и в самом деле мог, как говорит Мельгунов, пройти без происшествий, — то случайностью подготовленной. Нельзя безнаказанно манить людей «правдой» на горизонте или за горизонтом, не будучи готовым показать эту правду вблизи. Нельзя вскармливать жажду «неба в алмазах» во взрослых свободных людях, могущих применить свои силы и способности к выбранному труду. А свобода этого поколения превосходила все, бывшее впоследствии — при «новом порядке».

[25] Не хочу сказать, будто у Лескова нет мыслей. У него есть определенное художественно выраженное мировоззрение — как будто «почвенное», и в то же время предельно враждебное тому русскому духу, представителя которого нередко в Лескове видят. Не зря молодой Чехов отозвался о последнем: «полу-француз, полу-монах». Лесковский «очарованный странник», несмотря на дивное свое имя, есть гений-разрушитель, бредущий по жизни ощупью и уничтожающий все, к чему прикоснется. Мало произведений, заглавие которых — в таком противоречии с содержанием!

***

Наступательный морализм — ядро как левого, так и библейского мировоззрения. Смысл его в том, чтобы заставить как можно большее число людей испытывать чувство вины, а корень — в том убеждении, что «мир лежит во зле» и должен быть преобразован, при этом «зло» есть внешняя сила по отношению к Творцу или Истории. Зло — всегда вовне, в дьяволе или в прошлом.

Тут, конечно, скрыто противоречие. Творец благ, но созданный Им мир постоянно, от века «лежит во зле». История блага, но все ее создания, от начала и до наших дней, ретроградны и отвратительны, кроме разве что самых последних. Кто виноват? Христиане переносят ответственность на дьявола. Социалистам труднее. «Классы и массы» не дьявол, «клеветник от начала». (Правда, национальный социализм нашел дьявола в том самом народе, который его измыслил, и тем облегчил себе толкование мировой истории.)

В практическом применении — этическое мировоззрение в обоих видах создает человеческий тип, готовый к борьбе и полный надежд; разница только в том, по какую сторону смерти, *здесь* или *инде*, эти надежды исполнятся. Это тип, так сказать, «идейного» верующего или идейного социалиста. Далекое от крайностей большинство, как в социализме, так и в христианстве, не прочь повздыхать о «небе в алмазах», но не готово ради него совершать усилия.

Что же касается общества и искусств, то наложение все более давящего ярма принудительной праведности искажает человеческие отношения и убивает искусство, которое в своих основах питается вещами безнравственными или вненравственными: любовью, удовольствием, радостью; та же судьба ждет всякую свободную мысль. «Этическое мировоззрение» требует, чтобы люди прежде думали о том, «как нам быть вполне хорошими», а уже потом жили и действовали. Ничего хорошего, плодотворного, теплого, оставляющего следы в потомстве из этого, как известно, не выходит. Этическое мировоззрение вредит и отношениям с божественным. Из всякого жизненного события оно делает или кару, или награду, а человека уподобляет ученику приходской школы, ожидающему поощрения или наказания.

Надо сказать, что еще в древности — этическое мировоззрение, в позднем греческом его воплощении, рано пришло к тупику. Уже стоики поняли, что если божество *едино и благо*, то этого блага человеку не понять: остается утешаться тем, что все в мире идет к некоей неизвестной нам цели, в том числе и эта человеческая жизнь. Христиане облегчили постановку вопроса, создав дьявола. В XX столетии по Р. Х. почти общепринятой стала вера в то, что если делами

мира кто-то и занят, то скорее всего это дьявол. Булгаков выразил это убеждение в знаменитом романе.

Как и христианство, социализм (левая идея) нуждается в дьяволе, и находит его в людях, принадлежащих к чуждому классу, народу или биологическому полу. Дьявол нужен левому мировоззрению, как воздух — поскольку оно верит в *благость истории*. Зло всегда в прошлом и из прошлого; новое, «передовое» — всегда доброе; источник зла вне современности, вне «прогресса».

Вот краткое содержание средней, рядовой «прогрессивной брошюры» с тех пор, как русский человек, вместе со всей Европой, под влиянием Гегеля уверовал в Историю, как христиане верят в своего Бога. «Передовое мировоззрение» — христианство, в котором Бог заменен Историей. Гегеля можно без преувеличений назвать последним великим европейским богословом, если не прямо создателем новой религии.

Было бы ошибкой сказать, что эта «религия» непосредственно привела к провалу русской культуры в 1917-м. Добросовестно принятое христианство: «Царство Мое не от мира сего, ибо мир во зле лежит», не уравновешенное могущественным языческим наследством, не подточенное Возрождением — было не менее опасно. Тем более, что в России христианство долгое время было единственной культурной силой. Другие основы культуры появились у нас очень поздно, уже при Романовых, и в конечном счете не смогли соперничать с всеуравнивающей христианской идеей. «Не надо сложности, надо равенство!»

***

И «равенство» пришло. Разумеется, оно указалось не равенством, а уравнением, т. е. приведением к одному уровню. Это уравнение не замедлило сказаться на развитии языка и личности.

Что такое язык при «нормальных» условиях? Это — многоэтажный дом, от подвала до башенки на крыше. В этом доме нет единых, равно *понятных и необходимых* от подвала до крыши правил — потому что у «подвала» и «крыши» нет общих потребностей. Язык им нужен для разных целей. Первые им, как правило, пользуются, изредка что-то прибавляя от себя; вторые, из поколения в поколение, его создают, очищают, делают сложнее и притом яснее. Для первых язык — данность; для вторых — орудие личности, но и форма, по которой отливается личность. При «нормальных» условиях государство не вмешивается в жизнь языка, предоставляя народу — от извозчиков до поэтов — его развитие. Для справки: в старой России автору предоставлена была очень широкая свобода применения правил, вплоть до измышления новых правописаний (румынскими

буквами, например, или «безъятных»). Набранные такими правописаниями книги благополучно проходили цензуру и находили своего читателя.

С точки зрения «нового порядка» — язык, как и все остальное в государстве, есть нечто *управляемое*, подлежащее обустройству. Истинное соотношение языка и людей, на нем говорящих, конечно же, совсем другое. Мы настолько же принадлежим стихии языка, насколько она принадлежит нам; возможно даже, что власть языка над нами *больше* нашей власти над ним. Поэтому так важно освоить правильные, т. е. богатые, способы выражения мыслей. Бедные способы выражения с необходимостью ведут к бедности мышления. Революция не случайно бросается ломать язык сразу после победы. Он слишком сложен для ее умственного склада, он просто *не подходит* для выражения ее мыслей.

Однако язык не мыслит и сам по себе никаких мыслей не предписывает. Он — отпечаток мышления поколений. Разрыв с историческими формами выражения всегда рвет и с содержанием мысли как таковой. Если мысль — поток, то письменный язык — его русло. Нельзя помыслить то, для чего нет средств выражения.

Итак, «новый порядок» принялся упорядочивать язык тем же способом, каким он упорядочивал всё остальное. «Только предписанное дозволено». Через каждый десяток лет (а в первые двадцать лет после переворота — гораздо чаще) Академия выступала с новыми подробными и исчерпывающими «научными правилами». Некоторые из них остались только в проекте, вроде насаждения латинского алфавита — якобы для наилучшего слияния с передовым пролетариатом Запада. «Законобесие» этого рода длилось примерно до 1956 г., затем почти остановилось, но временами возрождалось в виде, например, внезапного запрета дефисов в словах вроде «западно-европейский», «железно-дорожный».

Насаждение «научной пунктуации» при новом порядке доходило до смешного: условный Розенталь выводил правила употребления запятых, ссылаясь на новые издания классиков, запятые в которых были расставлены корректорами новой эпохи заново, с оглядкой на все того же Розенталя. Подтверждающая ценность этих примеров из *якобы* Толстого и Гоголя равна нулю, т. к. они и писали, и печатались совсем иначе.

«Научная» орфография, «научная» (то есть шаблонная, усредненная, лишающая автора свободы) постановка знаков препинания — естественно вытекали из нового понимания вещей. Ничто не должно было «расти», «развиваться», жить по своим законам. Все должно быть предписано — во-первых, и во-вторых — обезличено и опрощено. «Телеграфный столб есть хорошо отредактированное дерево», грустно шутили писавшие при «новом порядке». *Лишенная сложных*

форм речь воспитала целые поколения, *лишенные сложных мыслей*. Смутное желание сложности, правда, осталось — отсюда ложноученая заумь в духе уже цитированного: «Импрессионистичность, активность подтекстово-ассоциативного уровня текста, апелляция к архетипическим праистокам национальной ментальности»...

При этом «новый порядок» не разрывал окончательно с культурой, основанной на слове. Правители поощряли риторические упражнения (по возможности такие, за которыми не стояло мысли), но наиболее деятельно поддерживали ту культуру, которая для выражения не нуждается в словах и потому не образует личность. Эта внесловесная, техническая культура и пережила «новый порядок».

Да, «новый порядок» приобщал массы к слову, но у этого слова было отнято значение. Мысль заменили риторикой. Глубина культуры и образуемой ей личности все уменьшалась по мере роста ее охвата. Кончилось дело культурой без вечного или хотя бы долговечного содержания, существующей просто для того, чтобы обученным читать массам не остаться без книжек.

Если бы речь шла в самом деле о приобщении «народа» к культуре (а не полупросвещению)! Действительно приобщенный к культуре народ из существа опекаемого стал бы существом свободным, мыслящим и чувствующим, и помыслив, захотел бы поэзии и религии. Не это входило в замысел «нового порядка». Народ учили читать вовсе не затем, чтобы он думал над прочитанным; напротив: для того, чтобы он прочитанному *верил*.

Не следует думать, будто и сейчас, в условиях «всеобщего среднего» и почти всеобщего высшего образования, в круг просвещения включены «массы». Массы от него стоят дальше, чем прежде. Для заполнения жизни им дан спорт и связанные с ним низкие страсти — вместо *труда, обычаев и религии*, которые заполняли жизнь их прадедов. При этом они уверены в своей просвещенности; они «грамотны» (т. е. умеют читать и, как правило, двух слов не могут написать без ошибки); они «выше» тех самых прадедов, т. к. не верят в богов, ненавидят царей, убеждены, что прошлое во всех отношениях было хуже настоящего... Эти три «роковых достоинства» они разделяют с интеллигенцией.

***

Важный вопрос: а какова цель «просвещения»? «Как можно большее число людей приобщить к знаниям», говорили прежде. «Получить как можно больше грамотных и работящих служащих», [26] стали говорить при новом порядке. Но зачем знания тем, кто не умеет думать? Единственно для выполнения более или

[26] Крупская: «Цель нашей школы — воспитывать полезного члена общества, жизнерадостного, здорового, работоспособного».

менее неквалифицированных, но «чистых», не требующих физического труда работ. Значительная часть этих работ не имеет никакой ценности и нужна только затем, чтобы чем-то занять «образованных». К желанной цели — распространению самосознания и способности мыслить — это не приближает.

У просвещения есть *пределы*. Зададимся вопросом: нужна ли всему народу способность мыслить — и для чего? Можно ли приобщить *всех* к культуре, основанной на слове, и какого качества будет такая всеобщая культура? Ответ известен. Имя такой культуре — полупросвещение. Полупросвещенный подражает просвещенному, проделывая все те же действия, что и последний (например — пишет статьи), но за этими действиями нет мысли. Таким образом, у просвещения есть предел, за которым количество мысли и качество умственного труда начинают убывать — если не прямо обращаются в ноль.

«Культура по существу удѣлъ богатыхъ и сильныхъ», говорил В. А. Маклаков. Культура аристократична. Она и не годится для «всех», и не «всем» и всегда нужна. Культура — состязание и отбор, следовательно — для сильных и способных. Но как узнать заранее, кто силен и способен? Наш век отвечает: никак. Приобщим к культуре *всех*, а дальше — как получится. Получается — чудовищное понижение уровня; *слово без личности*; власть трафарета, выдаваемого за кипение умственных сил. За примерами далеко ходить не нужно, созданная «новым порядком» культура у всех нас перед глазами.

Мера просвещенности — не посещение музеев, занятие пассивное, не требующее деятельности, как и чтение или слушание музыки. И чичиковский Петрушка читал... И на закате «нового порядка» массы в России читали как никогда много. Просвещенность проявляется в творческом труде, в стиле эпохи — как *модерн* проявлял себя во всем, от уличного фонаря, формы окон до особенностей шрифта и типографской виньетки.

Архитектура, типографское искусство процветают там, где являются средством выражения мысли, подобным музыке и слову. Нечего выражать там, где личности нет. Полупросвещенность производит эпоху бесстильную, чисто утилитарную. Вещи перестают говорить с человеком; или, что тоже, человек перестает вкладывать в вещи душу.

Нас с детства приучают к безобразию всех сторон жизни, начиная с архитектуры и продолжая книгоизданием. Поэзия и живопись шрифта становятся недоступны; переживание красоты письменного слова (еще живое в Японии, например) нам уже неизвестно. Где *здание* и *сарай* различаются только размерами — там и внешний облик слова кажется чем-то совершенно неважным. А слово... слово само по себе не священно. Можно изучить все слова, но не видеть их

смысла и употреблять наугад, как тот же гоголевский Петрушка складывал буквы: «иногда Богъ вѣсть что изъ нихъ и получается».

***

В области мысли новый порядок вырабатывал искусство «мимосмотрения». Ум приучался не видеть изначальных, важнейших понятий: религии, нации, традиции, духа; зато всегда и везде находил выдуманные или второстепенные «классы и массы» и связанные с ними вопросы. Мимосмотрящий ум, сколько ни трудится, никогда не доходит до первостепенных, коренных вопросов, т. к. трудится над видимостями.

Вместо того, чтобы «изучать» классическую русскую мысль (т. е. мысль поздней романовской эпохи и венчающую ее мысль Белой эмиграции, этого блестящего послесловия к романовско-русской культуре), у нее надо учиться мыслить — «предметно», как говорил Ив. Ильин, трудясь над глубинными, первообразными вопросами.

Важнейшая трудность на этом пути — оторванность образованного слоя от прозрачного и глубокого литературного языка (замененного жаргоном) и, неизбежно — невыработанность личности, т. к. себя и свое место в мире помыслить «на жаргоне» невозможно. Пошлость не дает средств для выражения глубины; а так называемый «язык гуманитарной науки» есть именно сгущенная пошлость, набор общих фраз и иностранных слов, лишенных всякого определенного значения, больше пригодный для камлания, чем для мышления и выражения мыслей. Бумага все терпит. Написать какое-нибудь «функционирование индивидуума в роли автохтонного хронотопа» гораздо легче, чем осознать смысл написанного, а тем более определить свое место в мироздании. Самопознания, самоосознания «на жаргоне» не бывает.

***

Казарменный умственный строй, привычка ко всему усредненному, рядовому, дюжинному — пережили «новый порядок». А вот идея «единой истины» пришла в Европе к полному банкротству. Говорю: «в Европе», потому что Соединенные Штаты, кажется, только ступают на путь, европейцами до конца пройденный.

В XX веке обанкротилась не только социалистическая «новая истина». Этическое мировоззрение библейского образца также под угрозой. Ведь основная мысль этического монотеизма в том, что мир есть разумно и нравственно устроенное предприятие с мудрым Хозяином во главе. Это самое уязвимое место христианской философии, и потому излюбленная мишень для критики. Защитить рационально и нравственно устроенный мир *невозможно*. Сколько усилий потрачено на развенчание веры в разумность мироздания... При этом развенчатели

уверены в том, что борются с «религией вообще», в то время как в действительности оспаривают *одно из возможных богословий*.

Христианство, в союзе с великими мудрецами древности, сделало ставку на мир с единой целью, единым смыслом, единым Хозяином. Ставка была проиграна. Современному атеизму нечего сказать о богах и божественном, но на идею «единой истины» он не устает обоснованно нападать. При этом атеист борется не с «религией вообще», но только с одной из возможных ее разновидностей: той, что видит в мире одну силу, один смысл, одну цель.

Кстати о развенчателях: «новый порядок» требовал разорвать с Библией, находясь всецело в ее тени; в то время как единственный действенный разрыв с библейским мировоззрением означал бы выход из этой тени. Так уж устроен атеизм: он борется против ветхозаветного мировоззрения с истинно ветхозаветным пылом...

Однако банкротство «единой истины» не означает еще банкротства эллинизма, с которого мы начали этот разговор. Напротив, сохраняя верность эллинскому началу, мы можем вернуться к миру *состязающихся истин*. Не в смысле глупой «толерантности», конечно. «Толерантность» предполагает, что одни истины (истины агрессивного меньшинства) более истинны, чем другие, т. е. само начало состязательности из нее изъято. Именно «толерантные» истины и не готовы соревноваться, поскольку заранее знают, что состязание ими будет проиграно.

Сумерки — часть промежутка между старым и новым днем. Наша эпоха — промежуточная, сумеречная. Мы должны сохранить ценности уходящего дня, чтобы передать их новому. А в остальном — снова вспомним эллинов. Как говорит Йегер о греческом поэте:

«<Он> призывает свое мужество восстать из пучины безысходных страданий, куда оно погружено, отважно подставить грудь врагам и, уверенно ступая, приготовиться к обороне. „Ты не должно ни хвастать перед всеми, окажись я победителем, ни забиваться в случае поражения в дом и там стонать: радуйся тому, что достойно радости, не слишком поддавайся несчастью и распознавай, какой ритм держит людей в своих узах“».

XXVII. Воспитание нации

Пусть это звучитъ «анти-демократично» и не въ духѣ нашего времени, но языкъ, культура и даже сама «нація», которой языкъ и культура служатъ лишь выраженіемъ, живутъ въ высшихъ, просвѣщенныхъ классахъ общества и ими же создаются. Языкъ, нація, культура — все это есть нѣчто духовное, имѣющее мало дѣла съ физіологическимъ и этническимъ существованіемъ массъ.

А. Салтыков

На предыдущих страницах мы уже говорили о нации, национальной культуре. Что это за нация? Откуда она берется? Естественно предположить, что нация — совокупность привычек, обычаев, влияний, идущих от самого ее зарождения, словом, нечто такое, что «вырастает» естественным образом и на что никто из живущих не может повлиять. То же самое говорится нередко о языке: он просто «развивается», а наше дело — наблюдать, в каком направлении пойдет развитие. Но и язык не просто развивается, а создается осознанными и не вполне осознанными усилиями. Тем более — нация.

На одной и той же исторической почве может вырасти несколько разных наций, как и несколько разных языков. То и другое зависит от получаемого обитателями этой почвы воспитания. Наша русская почва за истекшие сто лет видела нацию, созданную Романовыми (о ней мы будем говорить ниже); видела «новую историческую общность», которую пыталась создать революция (и об этом мы также поговорим); видит теперь т. н. «россиян»...

Личность и нация определяются сложными формами поведения. Пока их нет — перед нами только *существо* и *совокупность жителей*. Быть как личностью, так и нацией — значит обладать некоторым богатством, суммой положительных и воспроизводящихся отличий от товарищей и соседей.

Все это — плоды воспитания. Нация не просто «вырастает» но как и личность, воспитывается. Не все личные черты воспитуемы; также и черты нации. Иное можно усилить, иное ослабить; трудно внушить то, чего нет. Одного в том и другом случае сделать нельзя: привить некоторые ценности *словами*, без всяких за ними стоящих дел. И еще: никакое воспитание не может быть обращено к «массам» — только к личностям. Воспитывают личности и личностей. И наконец,

третье правило воспитания: человек может передать другому только то, что есть в нем самом; *машина воспитания* требует, таким образом, наличия некоторого «воспитанного остатка». Вот почему в развитии народов и личностей так важна преемственность; очень мало таких племен, которые *сами* проходили бы весь путь от первобытности к высшему развитию.

И о том надо сказать, что нация, национальное — совсем не то, что «народность». Нация на вершинах, а не в корнях; в сложном, а не в простом. Нация *образуется, усложняется и растет*, народное — *существует*. Нация живет в истории, рождается и может погибнуть — народное вне истории и почти бессмертно.

Нация — культура, самосознание. Ее присутствие в разных слоях народа, разных местах даже — неравномерно. Вопреки народническим верованиям, город «более» нация, чем деревня; аристократия более национальна, чем фабричные рабочие... Сознание ценностей, стягивающих личностей и сословия в нацию, сильнее на высотах, слабее в долинах. Там, в долинах, меньше времени на размышления и саморазвитие. Никакое «всеобщее среднее образование» этого не отменяет.

Государство, «территория», границы — все это не создает нации само по себе. И наоборот, может быть нация без государства и границ — как была в первой половине XX века «внѣземельная Русь» (выражение Н. Чебышева).

Как нация, так и личность создаются формообразующей силой плодотворных стеснений и правил, *выучкой*. Эта выучка — не отсутствие человеческих недостатков, а способность к высшим, достойным формам жизни *несмотря* на человеческие недостатки. Прививка достоинства и выправки всегда достается немногочисленному меньшинству — аристократии, а затем разносится, если так можно сказать, через подражание и стремление к высшему.

1. Романовская нация

Россия — одно из тех мест, где культурная почва особенно тонкая. У нас не было преемственности от прежде бывших великих народов (Рим далеко; византийцам мы были нужны не как ученики, но как данники). Династии Романовых пришлось создать недостающую преемственность искусственно, и то на исторически недолгий срок; «привить, — перефразируя Ходасевича, — классическую розу к московскому дичку». Создав новую преемственность, Романовы создали и новую нацию: имперскую, «российскую», европейско-русскую.

Достоевский говорил, что петровские реформы ничего не дали русскому человеку, кроме принудительно введенных европейского платья и бритья бороды; мы

в подробностях поговорим об этом дальше; пока что скажу, что речь шла о более важных вещах. Как это блестяще сказано А. Салтыковым:

«Имперія по самому своему существу была борьбою — отчего не сказать правды? — съ темными, разрушительными началами, съ хаосомъ и анархіей Великорусскаго духа, съ этнизмомъ Москвы. И въ этой борьбѣ надежнѣйшимъ союзникомъ Имперіи были именно наши новыя западныя области. При этомъ особую цѣнность придавало ихъ помощи и содѣйствію то, что они дѣлали и самую борьбу двухъ міровъ — не особенно замѣтною: благодаря ихъ молчаливому содѣйствію, огромнѣйшіе результаты достигались какъ бы сами собою. Такъ вовсе не великороссійскія, не «истинно-русскія» чувства права, порядка, дисциплины, лоялизма и красоты, такъ — черты настойчивости, выдержки и Ломоносовской «благородной упрямки», такъ цѣлый рядъ болѣе культурныхъ привычекъ и склонностей — становились постепенно «истинно-русскими» чувствами, чертами и привычками».

Поверхностный взгляд может увидеть сходство петровской реформы и «нового порядка». Формула «царь Петръ былъ первый большевикъ» пущена уже Волошиным. Но сходство поверхностно. Петровский порядок был насильственным, но соединением прежде разделенных начал (см. очерк *«Бедное и простое»*). «Новый порядок» предполагал не просто усиление *машинного*, американского элемента в русской жизни, но полную замену всего органического, вырастающего из исторической почвы — машинным. Тогда как богатые плоды приносит только новый *сплав* прежде раздельных начал, а не уничтожение одного в пользу другого.

Петр не просто «навязал» России новые ценности (как думали славянофилы и Достоевский). Русское — не просто «народное» в европейской огранке (или в европейском искажении). «Русскость», какой мы ее знаем между XVIII веком и 18 годом, возникала по мере усложнения и роста. Ведь воспитание народа, как и личности, не просто совершенствует природные достоинства, а *открывает* их; иначе говоря — делает возможным их проявление. Так создавалась и новая русская (или, как предпочитает говорить А. Салтыков, «российская», т. е. имперская) нация.

Русский человек имперского, романовского склада *не скрыт* внутри протопопа Аввакума или царя Алексея, как будущий взрослый не скрыт внутри ребенка. Ни Пушкина, ни адмирала Колчака в зерне русской личности, какой мы ее видим в XVII столетии, найти нельзя. Развиваясь, личность и нация *усваивают*, т. е. делают своими, прежде чужие им ценности, и уже на почве этих ценностей продолжают развиваться, находя в себе новые способности и желания. *Развитие*

есть создание почвы для будущего развития. Оно самоценно. Оно не «подготовка» к чему-то заранее известному, не дрессировка в определенную сторону. Плоды этого развития не предопределены, а едва намечены природными склонностями, проявляющимися в еще неразделенно-слитном характере молодости.

О достоинствах «романовского», имперского типа много и хорошо говорит И. Ильин. Однако не без подмены. Он не делает разницы между русским и романовским, имперским типом, и потому не видит основного внутреннего противоречия и источника сил Империи: наложения европейских воли и выучки на *русскую бесформенность*, «душевность». О нашей способности к дисциплине много говорит само понимание этого слова: в нем видят нечто теплое, симпатичное. На деле «душевный» значит «бесформенный», недовоплощенный. Ни к Пушкину, ни к Достоевскому нельзя применить этого слова; можно, скажем — к Некрасову.

Говорит Ильин и о том, что русский тип будто бы изначально христианский — а особенно в своей петровской, имперской разновидности. Второе нельзя не оспорить. Старообрядцы, называя Петра «антихристом», были на свой лад правы. Вся романовская эпоха была поскольку европейской, постольку и антихристианской. Романовы (начиная с Петра) выдвигали *сильных*. Не богомольцев, не калик, не юродивых, но сильных. Добросовестный христианин видел в этом несомненно языческую черту. Это и в самом деле была *римская прививка*, так нам необходимая. Власти был нужен человек решительный, способный бороться, и такого человека она возвышала. Это был разрыв с добродетелями *неделания* (а добросовестный христианин есть тот, кто *уклоняется* от мира и его дел; если в Европе мы видели в прежние времена деятельных и даже воинственных христиан, то это потому, что Рим в них был сильнее Писания). «Новый порядок» в 1918-м вернулся в Москву во всех смыслах. Ему больше не нужны были сильные; смирение снова стало добродетелью; иждивенец — достойным гражданином. Римская прививка была отторгнута.

Почему это случилось?

2. Надрыв просвещения

Общепринятый взгляд известен. «Классы и массы», угнетение, народное возмущение... В действительности в России случился *надрыв просвещения*, т. е. кризис, вызванный слишком быстрым, подобным наводнению, разлитием «образованности». (Ставлю слово в кавычки, т. к. на самом деле во время кризиса просвещения именно *образования* личности в школе не происходит; человек получает известную сумму знаний и на том его приготовление к жизни заканчивается. Но я опередил изложение.)

Что я имею в виду, говоря о «просвещении» как о чем-то отличном от «образования»? Обратимся к «Пайдейе» В. Йегера:

«Воспитание как функция человеческого сообщества — нечто столь общее и необходимое по природе, что самоочевидность этого факта для тех, кто является субъектом или объектом этого процесса, долгое время почти не осознается и лишь сравнительно поздно оставляет следы в литературной традиции. Его содержание у всех народов приблизительно одно и то же, оно одновременно имеет моральный и практический характер; и у греков дело обстоит не иначе. Частично оно облекается в форму требований, таких как: почитай богов, почитай отца и мать, уважай чужеземца; частично заключается в устно передаваемых в течение столетий предписаниях внешней благовоспитанности и правилах практической житейской мудрости; частично сообщается в профессиональных познаниях и навыках, которые, в той мере, в какой они подлежат передаче, греки обозначали словом τέχνη. <...> От воспитания в этом смысле отличается образование человека путем создания идеального типа, обладающего внутренней цельностью и особым складом. Образование невозможно без мысленного представления об образе человека, каким он должен быть, причем оглядка на утилитарные потребности безразлична или, во всяком случае, не столь существенна, а решающее значение имеет καλόν, т. е. прекрасное в обязывающем смысле желательного образа, идеала. <...> Образование сказывается на всей форме человека — как на внешних проявлениях и манере держать себя, так и на внутренних установках. И то и другое возникает не случайно: это продукт осознанного культивирования».

Добавлю, что кроме *воспитания*, которое дает т. н. «нормы общежития», и *образования*, которое формирует личность, есть и третье: *просвещение*, т. е. сообщение некоторой суммы знаний. Оно необходимо, но не самоценно. Однако почти только о нем и заботился в России «новый порядок»... В практическом применении «просвещение» без воспитания и образования создает только *технически грамотный класс* без культурных привычек. [27]

В «нормальных» условиях воспитание, просвещение и образование дополняют друг друга. Количество требующих учения не превосходит способностей и численности преподавателей. Мера успеха в этих условиях — возможно большее, без понижения уровня, число людей, вовлеченных в плодотворное, словом выраженное самосознающее существование. Россия пушкинских времен не удовле-

[27] Это класс, который не нуждается в тех книгах, над которыми *думают*. Ему, как и необразованному читателю, книжка нужна для отдыха, в час забавы, потому что чтение для него *не труд*. У физика, выведенного С. Льюисом в «Эроусмите», был целый шкаф развлекательных книжек — для отдыха от научных занятий. Меткое наблюдение.

творяет этому условию; не удовлетворяет и Россия «нового порядка». Равновесие между количественным разливом просвещения и его качеством — было, наверное, достигнуто к концу XIX столетия, т. е. к началу Серебряного века. Собственно, Серебряный век и был признаком успешной культурной политики поздних Романовых.

Как все плодотворные общественные (и душевные) состояния, это было положение неустойчивого равновесия. Можно было бы ждать и дальнейших успехов — при условии плодотворного ограничения числа приходящих к просвещению. Перегрузка аппарата просвещения, если так можно сказать, выводит его из строя, причем разрушения множатся, а бороться с ними некому, т. к. нарушается и *обучение обучающих*. В конечном счете мы получаем машину для воспроизводства полуобразованности.

Так и было в России после Великих реформ. Я уже вспоминал слова П. Б. Струве о «разливе полуобразованности». Этот разлив, говорит Струве, —

«обратная сторона всесторонней и стремительной демократизаціи Россіи въ царствованіе Николая II.

Эта демократизація означала не столько проникновеніе «народныхъ» или «простонародныхъ» элементовъ въ языкъ, сколько разливъ въ языкѣ и литературѣ стихіи **полуобразованности**, всегда знаменующей стремительное пріобщеніе къ культурѣ и вообще быстрое и нестройное усвоеніе языка и культуры новыми и доселѣ ей чуждыми элементами. Эти перемѣны происходили въ періодъ съ конца 80-хъ гг. до самой войны и революціи.

Никогда, быть можетъ, за всю исторію человѣчества средняя и высшая школа не «перерабатывала», выражаясь языкомъ желѣзнодорожнымъ, такой массы «человѣческаго матеріала», который выходилъ изъ культурной среды, стоявшей гораздо ниже этой принимавшей его школы. Эти толпы всю культуру вообще, а словесную въ частности, брали изъ школы. Изъ дому онѣ ничего не приносили. Уровень средней школы въ эту эпоху замѣтно понизился, не потому, чтобы понизился уровень преподавательскаго состава, а потому, что «перерабатываемая» имъ школьная масса черпалась изъ широкаго малокультурнаго резервуара. Въ это время вся Россія, до уѣздныхъ городовъ, большихъ селъ и казачьихъ станицъ, покрылась сѣтью гимназій и реальныхъ училищъ. Среднее образованіе и проникало въ толщу народа, и разливалось по всей странѣ. Это былъ огромной важности и, въ общемъ, здоровый и нормальный процессъ. Но по своей стремительности онъ былъ разлитіемъ полуобразованности въ странѣ. Она, эта полуобразованность, всего болѣе повинна въ порчѣ и засореніи языка.

Этотъ разливъ полуобразованности сыгралъ очень крупную роль и въ революціи 1917 и послѣдующихъ годовъ».

«Разлив полуобразованности» множил интеллигенцию. Что ж тут плохого? То, что интеллигенция есть *переходное состояние* между простотой и образованностью. Интеллигент есть *подросток*; нечто временное; не «вершина», а точка в начале пути. Вопрос о просвещении есть тот же вопрос о свободе. «Я уже большой (много знаю), а значит, могу поступать по своей воле!» — говорят дети. Так говорила и интеллигенция с тех пор, как осознала себя.

Из этого не следует, что просвещение не следовало распространять. Следует из этого только то, что устойчивость общественного корабля в условиях широко разлитого просвещения слабеет. Россия пошла ко дну, потому что интеллигенцию опьянила новая вера, так же восторженно смотрящая на катастрофы и гибель царств, как когда-то христианская, а еще потому что в решающую минуту интеллигенция успела бросить в трюм не спичку даже — охапку горящих факелов. «Классы и массы» были только обстоятельства дела. Дело же было — ускоренное разлитие просвещения при слабости культурных устоев.

Замечу на всякий случай: говоря об прежней России, важно не попасть в ловушку «исторического» (то есть библейского) мышления, для которого последующее событие всегда с неизбежностью вытекает из предыдущего (читай: *является карой или наградой* за предыдущее). Боги не так последовательны. Многие вещи просто происходят одновременно, иногда — последовательно, не имея внутренней связи. Крушение российского корабля не следовало с неизбежностью из предыдущих событий; они только делали его *возможным*.

Итак, интеллигенция самовоспроизводится по вине испорченного аппарата просвещения. Она гордится собой и хочет сочетать несоединимое: просвещенность (очень неполную) с бесформенностью, старым русским пороком. В бесформенности видит она свободу. В то время как действительная свобода — не в распущенности и беспорядке, а в *самоуправлении*. Притом же, по некоторой исторической иронии, она мечтает о «демократии» — которая вся, от начала и до конца, стоит на самоуправлении и ответственности...

Но вернемся к разливу просвещения в последние 50 лет Старого мира. Несмотря на полуобразованность, на описанных Чеховым слабовольных Ива́новых и «умных и честных» Львовых (либеральному доктору Львову, кстати, чеховская героиня говорит: «Какое бы насиліе, какую жестокую подлость вы ни сдѣлали, вамъ все бы казалось, что вы необыкновенно честный и передовой человѣкъ!» Характеристика вечная, неистребимая!) — росла и подлинная образованность. Уверения Достоевского, будто вся реформа Петра — видимость и никакого следа на русском человеке не оставила, опровергаются историей.

Белое движение, а затем эмиграция — свидетельства силы созданного Петром типа русского европейца. Да, в России произошел *надрыв просвещения*, сбой образовательной машины. Чем дальше, тем больше расходились знания и «образование» (а в советские годы разошлись окончательно). Человек просвещенный — чем дальше, тем меньше умел распорядиться собой. А знания без умения ими распорядиться, без дисциплины, воли, целей (не «всемирных», а личных) — вредны, если не прямо опасны.

Но это ничего не говорило об обреченности петрова дела. Это говорило только о том, что большой корабль слишком поздно и круто переменил курс и не справился с волнами. Время, которое некоторые называют «золотым веком Империи» — до 1861-го — было и время, потерянное для образования. Не знали, стоит ли обременять крестьянина культурой, которая заставит его почувствовать тяжесть своего положения (культура всегда бремя, кстати, и не только для крестьянина) — и потому не обременяли.

3. О воспитании

Прежде всякого образования идет воспитание. Как я сказал выше: личность понимает только отношение к себе других личностей; никакие слова не имеют на нее действий. Итак, надо сказать: *нация создается дома*. Если не прямо «в детской», то из домашней, частной жизни; из игр на Пречистенском бульваре под невнимательным, но все же присмотром няни; из семейного тепла; потом в школе — но это при условии хорошо поставленного образования, забота которого — личность, а не маршировка.

Частную жизнь революция на десятки лет загнала в невыносимые условия, лишила тепла, а новая школа, как мы помним, выращивала трудолюбивого и жизнерадостного простака, в соответствии с известным высказыванием Крупской.

Осознание своей страны, культуры, «русскости» — это всё идет из дома, и если нет там, то не будет нигде. Только «новый порядок» на своем упадке предлагал «усилить патриотическое воспитание в школах при помощи герба и флага», т. е. получить невозможное: в циничных, холодных душах зародить почтение к чуждому флагу.

В действительности государство создается *преемственностью частной жизни*. Частное, домашнее — самая могущественная сила воспитания. Потому так важно было все частное заменить «общественным» — чтобы остановить передачу привычек ума и чувства, из которых складывается благоустроенная жизнь. Но в действительности все общее побеждается частным; положительные ценности нельзя навязать при помощи пропаганды, т. е. простой дрессировки.

Отрицательные — вполне можно: отбить привычку к труду, приучить к бедному и простому вместо богатого и сложного, возбудить вражду к непохожему и непонятному.

4. Нация и «новый порядок»

Можно возразить, что нацию я пытаюсь представить как *единство культурных людей* — а «не всем же быть культурными». Возражать и не стану. Нация есть единство культуры, а не водки и сквернословия, и люди, не обладающие никакими положительными, воспроизводящимися отличиями — ни к какой нации не принадлежат, они просто *жители* некоторой местности.

Более весомое возражение таково: хорошо, но и в Старом мире значительное большинство нации принадлежало к тому самом «народу», который просто «существует» изо дня в день. Более того — при конце Старого мира этот «народ» показал себя не лучшим образом, и только «новый порядок» ввел всенародное брожение, пусть и через десятки лет (т. к. еще 30-е гг. были временами широкораспространенного бесчинства, о чем не принято вспоминать), в какие-то рамки.

Не отрицаю. «Новый порядок» достоин осуждения не потому, что установил хоть какой-то порядок, а потому, что добивался порядка *путем уничтожения личности вместо ее воспитания*. О «воспитании» заговорили только после кончины тирана, когда личность уже была приведена к бессилию — и как бы не навсегда.

Равнение на уровень посредственности — ключ к новейшему «воспитанию». «Что же тут плохого, — говорят и теперь, — *равенство прекрасно*, оно убивает зависть!» Равенство убивает и возможность развития, и желание быть лучше. Развитие народов и личностей возможно только пока они неравны: пока есть *чему удивляться*, *чему завидовать* и *что заимствовать*.

Разлитие просвещения в обществе всегда идет сверху вниз, т. е. возможно только до тех пор, пока этот «верх» существует. Идет оно двумя путями: благодаря попечению верхов (во всяком случае, у нас в России) и благодаря переимчивости низов, которые хотят и в малом, и в большом подражать богатым и сильным. Добро вызывает не меньшее, а то и больше желание подражать, чем зло; во всяком случае у взрослых; дети более уязвимы перед обаянием злого.

Когда просвещенный класс в значительной своей части отказался служить новой власти, та создала новую интеллигенцию на другом этническом корне — еще более беспочвенную, нежели прежняя, но до поры верную. Верность ее, однако, была верностью идее, а не стране, и потому недолговечна. Эти люди

нужны были большевикам как «европейцы ускоренного производства»; единственными европейцами и творцами культуры в России они видят себя до сих пор. К сожалению, это культурный класс без религии, Родины и аристократизма (т. е. выправки и традиции), а потому и без понятия внутреннего труда.

«Новый порядок» обещал создать и новую нацию. Мы помним, как это называлось: «новая историческая общность». Этого обещания он не исполнил. Нация не может «слинять в три дня», как грубо и несправедливо сказал Розанов о Русском государстве в 1917-м. Именно это, однако, и случилось с «новой исторической общностью» в 1991-м. Все «советское» на глазах выцвело. Культурное поле мгновенно засеялось сорняками, причем сорняками, об отсутствии которых общество давно вздыхало. Если в Белой эмиграции русско-романовская нация культурно плодоносила еще почти полвека после исчезновения государства, то в «освобожденной» России всякое плодоношение хвалимой «новой культуры» пресеклось мгновенно, уступив место разным формам литературного и прочего разврата. Как только из «советского» выпали пропаганда и та часть литературной поденщины, что писалась по соображениям цензурного удобства, заработка ради — оно уничтожилось почти без остатка. Да, обвал книгоиздания добил прежнюю литературу, но он не был случаен. Публика хотела определенного рода кушаний — и получила их. Литература желтая, полупорнографическая наилучшим образом удовлетворяла вкусы большинства, воспитанного — не будем забывать — «новым порядком».

Для образованных чтение — труд; для необразованных — развлечение. Доля развлекательных сочинений в общем круге издаваемых книг много говорит о том, для кого работают книгоиздательства. После конца социализма развлекательная литература победила — потому что образованного читателя не было или почти не было. «Самый читающий народ в мире» хотел от книги прежде всего развлечений. Технически просвещенному классу книга нужна только в час отдыха.

Потому «новый порядок» и не национален в *романовском* смысле, что вопроса о личном достоинстве и развитии даже не ставил. Если царь Петр сужал идеал нового русского человека до «*добраго офицера*» (т. е. достойного, пригодного для службы), то это было сужение временное и служебное. В недолгом времени кроме «*добрыхъ офицеровъ*» появились в России и мыслители, и поэты. Однажды начатое *всерьез* просвещение приводит не только к техническим успехам, которыми — неоспоримо — ограничились просветительные усилия революционеров: бомбы и самолеты при почти вековом молчании народа, прежде охотно и плодотворно выражавшего себя в слове. (Маяковские и иные слуги не в счет;

тем более что как Маяковский, так и М. Булгаков, скажем, образованы как личности еще Старым миром.)

Ссылку на то, что революции будто бы не хватило времени для создания нации, той самой обещанной «новой исторической общности» — приходится отвести. Нация нового образца — российская, имперская, романовская, как ни называй, — сложилась у нас в недолгий срок от Петра I до Екатерины II. Сложилось, во всяком случае, новое самоощущение — широкое, европейское, победное. Выражением «*Россійская Европія*», употребленным в одной книжке конца XVIII века, это ощущение прекрасно определяется. Это национальное самоощущение нас не покидало до *Крыма и Галлиполи* — и дальше, пока граждане «русской Европии» были живы.

5. Настоящее и будущее

Итак, у нас в России есть пока что только одна нация, присоединение к которой стоит усилий: нация *русско-романовская*, имперская, от Алексея Михайловича до Николая Александровича сложившаяся — и потом еще живая, вне национальных границ, на протяжении почти полувека. «Новая историческая общность», созданием которой хвалился «новый порядок», и часом этот порядок не пережила.

Сейчас положение наше еще хуже. «Российское» есть обесцвеченное, потерявшее вкус и запах «советское». Никакими положительными отличиями оно не обладает, несмотря на широко объявленные «скрепы»; оно не наличность, но отсутствие качества. «Качества» улетучились после распада «нового порядка». Бескачественность «российского» преодолевается пока что через прививку «советского».

О европейского стиля выправке, которая придавала русскому человеку твердость и внешнюю форму в дополнение к достоинствам, присущим ему от природы — и речи не идет. Принять нынешний служебный, временный, за отсутствием лучшего придуманный идеал затруднительно, т. к. и достижения он обещает чисто служебные, а разрыв с национальной Россией (в указанном выше смысле) только усиливает.

А. Салтыков — несколько телеграфно — говорит: *основа нации есть победа*. Если расшифровать: основа нации в избытке сил, приводящем к политическим и иным победам. Этого нельзя сказать о нашей нынешней государственности. У нас нет «избытка»; хуже того — мы живем крошками с иностранных столов, и ничего «своего» предложить никому не можем. В лучшем случае, в качестве «своего» подается старое, лежалое, оставшееся от «нового порядка».

Единство бытовых обыкновений — нации еще не создает. Не создается оно и «идеологией», вопреки нынешней уверенности в том, что восстановление *парадной*, т. е. противоречащей его же образу действий, морали «нового порядка» восстановит пресловутую «новую историческую общность». Парадная мораль тем и отличается, что ее надевают по выходным, а в прочие дни хранят в шкафу. В «человек человеку друг, товарищ и брат» при «новом порядке» верили только самые наивные.

Основой развития в Старом мире были не «лозунги», а многообразие и неравенство и свобода влияния и заимствования. Слово «многообразие», однако, значит здесь нечто иное, чем имеет в виду социализм наших дней. Левое мировоззрение требует *принудительного многообразия*, понятого в единственно-верном, т. е. предписанном смысле. По сути, это требование единообразия, только слегка прикрытое. «Пусть цветут все цветы, — как говорил один тиран, — кроме ядовитых». Так и здесь. Кроме того, оно требует *равенства*, которое по определению ни с каким многообразием не уживается.

Левое, интеллигентское — нас к высшему развитию не приблизит. Как сказано выше, интеллигенция есть болезнь роста. Чеховские пьесы полны людьми, которые от своей среды ушли, а к высшему состоянию не пришли: образованность их позолотила снаружи, не облагородив внутри. Тех же людей мы видим сегодня. Снова «небо в алмазах», снова «ум и честность», и снова чуждость национальной почве, как она создана предыдущей эпохой. Если наша интеллигенция не любит революцию, то не от осознанного отвращения к ее целям и образу действий.

Просветительный идеал себя исчерпал. Если так можно сказать, всесжигающий вал «просвещения» докатился до своих пределов. Нет больше ни воспитания, ни образования — только сообщение будущим техникам пресловутых «фактов». Умение видеть смысл, которое давалось когда-то образованием, похоронено под грудами «фактов». Личная выправка, культурные интересы не нужны поколениям техников; где отцы еще питались фантастикой и технологическими мечтаниями, детям хватает и водки, приправленной гнилословием. (О достоинстве и силе бр. Стругацких как учителей жизни я говорить не буду.) Что-то надо с этим делать, и никакими «скрепами» дела не поправишь.

XXVIII. Надежда, чувство вины, искание чуда

Мы не раз уже говорили о христианстве и его отзвуках в расхристианивающемся мире. Поговорим о нем снова. Спросим себя: без чего оно немыслимо — говоря о чувствах, переживаниях, словом, психологически?

Я бы сказал, что христианство нельзя представить себе без трех вещей: без *надежды, чувства вины, искания чуда*.

1. Надежда

Если посмотреть на христианство со стороны, глазами «язычника», можно решить, что оно поклоняется, не в малой степени, гипостазированной Надежде-Терпению. Ведь как Афродита делится, согласно Платону, на Афродиту-Уранию и Афродиту-Пандемос, так и в надежде скрыты две возможности: Надежда-Терпение и Надежда-Победа. Одна смотрит в настоящее, другая в будущее. Терпение само по себе не подразумевает победы; мысль о перемене к лучшему оно откладывает на вечное «завтра».

Старая религия тоже знала Надежду — греки как поэтический образ, римляне, сообразно своему характеру, как Надежду на Государство. Но это совсем другое. Неразрывная Надежда-Терпение — надежда, оторванная от исполнения, сроки которого настанут не здесь, не сейчас. В религии грека и римлянина было место Победе. Вообразить же у алтаря Победы христианина — невозможно. Здесь граница между добросовестно-христианским и внехристианским мышлением. [28]

Надежда, оторванная от Победы, означает, что ее упования всегда «там», не «здесь и сейчас». Для здесь и сейчас нет ни одобрения, ни хотя бы любопытства. Чтобы строить на земле, христианскому мировоззрению нужна римская прививка, Западу данная католичеством, а России — Романовыми. Об этом мы уже говорили выше.

С другой стороны, для творчества, особенно поэтического творчества — эта отчужденность от мира полезна. Чтобы творить, нужно в достаточной степени «выломиться» из жизни. Христианство с его «не здесь и не сейчас» как нельзя лучше способствует поэзии.

Свобода есть именно невовлеченность; гений — холодок отчуждения от действительности. Между творящей душой и миром всегда зазор: «лень», осенний болдинский день, неделание и уединение. Творец *невовлечен* в минуту творения.

---

[28] Точно так же и пушкинское «чтить самого себя» выносит его за пределы церковно мыслящих людей, поскольку добросовестный христианин себя чтить не может. См. многочисленные и совершенно верные высказывания Лескова. Например это, из «Фигуры»: «Я ни про какую благородную гордость ничего въ Евангеліи не встрѣчалъ, а читалъ про одну только гордость сатаны, которая противна Богу».

И обратно: всякий пляшущий с плясунами, пьющий с пьющими, отпускающий прибаутки «творец» слишком здесь, слишком сейчас, чтобы ждать от него чего-то *настоящего*. Зато последних и любит непросвещенный слушатель и читатель...

При этом созданный христианством склад души, т. е. его отпечаток на душевной жизни, — не то же самое, что внутреннее содержание библейской религии. Из ее внутреннего содержания не следует ни культуры, ни творчества, — а скорее нечто, напоминающее самых твердых форм ислам. А вот из опыта тишины, уединения, внимания в внутренней жизни личности, даваемого христианской жизнью, творчество и культура не то, чтобы вытекают — но они им питаются, помимо сухой, питательной, еще эллинами указанной беседы ума с самим собой. [29]

2. Вина и стыд

Оборотная сторона надежды — чувство вины. На этой струне христианство не устает играть. Оно обращается в человеке к ребенку, огорчившему строгого, но любимого родителя. Отсюда его щемящая интимность. Мелодия христианства — тонкая, берущая за душу мелодия вины. А поскольку виновны *все*, власть этой мелодии безгранична.

Однако нельзя сказать, что иго морального мировоззрения всегда тяжело. Покаянная поэзия, со всеми ее чудовищными преувеличениями, близка огорченной душе. Христианство подстерегает человека в минуту надлома и тут оказывается близким, домашним, выражающим именно *его* чувства. Другое дело, что жить в состоянии постоянного надлома, рыдания, сокрушения — никто не может. Осушив слезы, человек закрывает покаянный канон. Власть христианства есть, в своем роде, власть лирической поэзии — пока оно не предъявляет права на *всего* человека в *каждый* день его жизни. Тогда тирания морального мировоззрения становится нестерпимой: нельзя рыдать по расписанию и раскаиваться произвольно. Розанов говорил, что «блаженны плачущие» надо утаивать от детей и подростков и сообщать людям по достижении первой зрелости: тогда слова эти поразят. Но жизнь и зрелого человека не состоит из одних только сокрушений.

Говоря о вине, надо вспомнить и об огромной области «постыдного», в которую попадает важнейшая часть человеческой жизни. Действующие лица Ветхого

---

[29] Защитники христианства, кстати, указывают часто на побочные его плоды, уверяя, что в зародыше — как горчичное зерно — те содержатся уже в Евангелии. Нет, не содержатся. А вот эллинство, и в немалой степени, в Евангелии присутствует. Эллинство пропитывает и поддерживает наш, европейский, умственный мир до сих пор, и на него, как я уже говорил, мы можем опереться даже теперь, когда мост, выстроенный церковью (непреднамеренно) между нами и эллинами, начинает трещать.

Завета то и дело «познают» и «зачинают»; Давид влюбляется в Ионафана и всем об этом рассказывает... Потому один из героев Лескова и говорит о Библии, имея в виду Ветхий Завет: «Отъ нея страсть мечется». В Новом Завете все меняется. Взгляд на женщину — грех. Женитьба тоже грех; но не жениться еще хуже, т. к. неженатый будет «разжигаться». Счастливы скопцы, счастливы им подражающие, а если не можешь быть, как они — женись, *чтобы угасить огонь пола*. По меньшей мере своеобразное благословение брака.

Само понятие «клубнички», т. е. чего-то сладкого, но запретного, создано этическим мировоззрением; восстание этой «клубнички» мы и наблюдаем. «Въ содомѣ ли красота? — восклицает Достоевский. — Вѣрь, что въ содомѣ-то она и сидитъ для огромнаго большинства людей!» Этический взгляд на мир загоняет жизнь пола в Содом, а потом борется с подпольным влиянием этого Содома.

«Восстание пола» в наши дни — прямая расплата по давним счетам. К сожалению, это восстание не достигает цели, т. к. речь идет не о перемене мировоззрения, но о судорогах, вызванных желанием поступить назло и наперекор — словом, о подростковом бунте, которым всегда сопровождается выход из-под опеки христианства. На этих бунтующих подростках вины не больше, чем на тех, кто хотел их оставить вечными детьми. Станут ли вчера христианские народы взрослыми, потребуют ли иного взгляда на мир, более подходящего взрослым людям? Никто не знает.

По мере ослабления христианства, на место его вставало другое этическое, т. е. основанное на чувстве вины, мировоззрение — социализм. Мы не раз уже об этом говорили. Социализм есть настоящая религия христианского толка. Его смысл в насилии над человеческой личностью ради этических целей. Пусть не обманывает установившаяся в XX веке связь социализма с марксизмом; это связь местная и временная. Марксизму ненавистна была личность, ее особность и предприимчивость; пафос этического мировоззрения может быть направлен и на другое. «Пророкам» (назовем этим словом всех поклонников этического мировоззрения) ненавистна всякая сила. Сила ведет к преступлению, говорят пророки, нужно создать *общество слабых*. Общество слабых, к сожалению, совершенно бессильно против любых злоупотреблений, против любой наглости, от кого бы она ни исходила — от новых тиранов или от африканских переселенцев. Сила не просто культурно плодотворна, она еще и сторожевая башня, охрана личности и свободы...

С левой идеей тесно связано, по сути дела — переплетается еще одно мировоззрение, которое можно назвать «историзмом». После того, как Гегель позволил Истории занять место христианского Бога, христианскому чувству вины

нашлись новые формы. В исходах прошедших и происходящих событий историзм видит «суды Истории» и верит «в справедливость ее приговоров» (Ф. Зелинский).

«Историческое» мышление видит во всяком событии кару или награду, поэтому для него нет полутонов. Для историзма всё «закономерно» и «неизбежно». Всякая случайность, всякий срыв во время сложного, рискованного развития — «предрешены». Так создаются мифы о «неизбежности революции» и прочем в том же роде. Любое расположение событий провозглашается «неизбежно вытекающим» из предыдущего. Так звуки только что законченной симфонии могли бы верить в предопределенность своей встречи — а ведь могли бы расположиться совершенно иначе.

На «все суды истории праведны» следует ответить: суды истории могут быть *бессмысленны и злы*. Особенно нам, русским, следует это помнить. Историческое развитие не есть накопление вины; прекращение этого развития (революции, катастрофы) — не «закономерный итог», не «кара», но только один из возможных исходов. Прошлое перестало быть не потому, что оно было «виновно и обречено», не потому, что оно было «дурно»; новое победило не потому, что оно было «хорошо». Старое и новое — вообще не моральные, не качественные определения.

3. Искание чуда

Одна из главных, если не главная христианская черта — искание чуда.

Само по себе желание чудесного — вероятно, общечеловеческое. Одни народы видят чудесное во всем, не прилагая усилий; от других оно дальше; и чем выше развитие «разума», т. е. чем суше и холоднее жизнь, тем больше жажда чудесного, доходящая до настоящей страсти. Чудо напоминает «просвещенным» народам о том, что под корой видимого мира скрыто невидимое.

С областью чудесного, в той или иной мере, соприкасаются все религии; но только христианство, думается, связало себя с этой областью неразрывно — до такой степени, что борьба революции с Церковью была в первую очередь борьбой против чуда. Чудо есть *ось христианства* — не католического, как думал Достоевский, а вообще. Победа над природой доставляет христианину удовольствие. [30] Желание чудес, страсть к ним — прямое следствие известных слов о горчичном зерне. Где вера, там чудо; где нет чуда (победы над природой) — нет

[30] Вообще пафос покорения природы — изначально христианский. Греко-римское язычество выразило когда-то иные отношения человека и природы: человек есть служитель, богами поставленный для того, чтобы природа пребывала в порядке. (Э. Р. Доддс: «видели в человеке божьего управителя, а в земном существовании некую разновидность службы (λειτουγία)».)

и веры. Не случайно «новый порядок» одновременно развенчивал «церковные» чудеса и прославлял собственные победы над природой. Только так он мог переманить *веру* к себе на службу.

Христианство радуется, видя нарушение естественного порядка вещей. Эту его черту наследует и левая «вера» — социализм. В центре левой идеи — вера в то, что естественные отношения людей и вещей суть нечто такое, что должно быть преодолено. (Как можно видеть, Ницше в этом отношении — чистокровный христианин.)

Конечно, библейская религия не исчерпывается своим вкусом к «чудесному», но этот вкус в нем — определяющий. Мир, — говорит она, — управляется разумным хозяином, и управляется *чудесным образом*. При этом нельзя отрицать: мистическое, то есть область скрытого смысла событий — поле деятельности любой религии. *Кто не разгадывает тайного смысла событий собственной жизни, тот и не верует*. Однако есть разница между мистическим (тайным) и чудесным.

Греки и римляне в качестве верующих людей кажутся беглому взгляду холодно-рассудочными, если не прямо безрелигиозными. Их вере недостает *детскости*, естественного для нас отношения к божественному. Люди древнего мира — взрослые перед своими богами. Нам эта взрослость кажется холодностью. Старая религия не требовала «верить» наперекор вероятности, не говорила о горчичном зерне и ввергающихся в воду горах.

Язычник знает, что боги могут не ответить, с этим ничего нельзя сделать; христианин думает иначе: это не Бог не ответил, а он, христианин, *плохо верил*. Христианство предельно напрягает человеческие силы, чтобы в конце сказать: ты недостоин. Можно даже сказать что сознание *личного недостоинства* — желаемое состояние христианина...

В отличие от язычника, христианина учат направлять ум и волю на невозможное. Если невозможного не случается — это его вина. Отсюда неизбывное искание чуда. Христианин — говоря упрощенно, — есть тот, кто верит в чудеса, и не просто «верит», но любовно ищет и находит их в повседневности.

Заметьте, что в древнем мире были почти неизвестны атеисты. Не потому, конечно, что греки и римляне были «невежественны» — но потому, что старая религия не требовала неистового напряжения веры. Христианство ставит Чудо на первое место; кто не верит в чудо, тот не христианин. «Чудо, тайна и авторитет», скажет Достоевский будто бы о католичестве, на самом деле — обо всем христианстве.

Когда современный автор, Честер Дж. Старр, говорит о языческих философах: они «пришли в мир, чтобы искать исключительно материальные, естественные причины <явлений>», он выбирает не вполне правильные слова. Древние, скажем так, не считали, что мироздание управляется Вседержителем в чрезвычайном порядке; следовательно, для всех событий искали совокупности естественных причин. Сама противоположность между религией и «материализмом» выкованы христианством; материалист есть тот, кто не верит в чудеса, начиная с рождения от девы и далее по списку. Старая религия, как я уже сказал, не требовала постоянного напряжения веры — вплоть до смертельной ее битвы с рассудком. Для материализма не было оснований. [31]

Поэтому «материалист» в наши дни всегда борется не с Религией вообще, но с одной из ее разновидностей — той, которая его создала. Мысль о том, что «чудесное» — не непременная принадлежность религии, а только черта *одного из возможных ее пониманий*, освобождает, но мало готовых этой свободой воспользоваться. [32]

...Вернемся к тому, с чего мы начали: к исканию чуда. После трезвого, рассудочного XIX столетия мир бросился в погоню за чудесами. Он искал их повсюду, кроме Церкви: в большевизме, национальном социализме и фашизме; в науке; в новых религиозных учениях; в книгах о жителях иных планет...

Наш большевизм, как некогда христианство, требовал чрезмерного напряжения способностей *веры* и *надежды*. От подданного «социалистического отечества» требовалось верить в невидимое и надеяться на небывалое. А «Партия» постоянно обещала чудеса, отличаясь от Церкви гораздо меньшей чудотворной способностью. В итоге — как христианство ковало тип *материалиста*, прививая неприятие чуда, так и новый порядок воспитывал тип *циника*. Почти вековое господство социализма воспитало в людях самый глубокий цинизм...

Поиск чудесного, однако, продолжается.

---

[31] Можно возразить, что есть ветвь христианства, вообще отказавшаяся от всего чудесного: протестантизм. Но по протестантам трудно судить о христианах. Они начали с возвращения к Ветхому Завету, чтоб не сказать — прямо к иудаизму, продолжили «прикровенным атеизмом», как говорил Достоевский; а закончили у нас на глазах откровенным безбожием («Каждый день я медитирую, молиться ведь всё равно некому» — германский богослов 20 века; памятно и недавнее дело пастора-атеиста, которого прихожане не смогли удалить из прихода, т. к. его «право на толкование божественного *любым образом*» защитила высшая церковная власть). Где-то в промежутке — прусское протестантство XVIII — XIX вв. с его религиозным почитанием Государства (принесшее немало добра нам, русским, через осевших в России немцев).

[32] Кстати о христианах и материалистах. Всякий отбор людей на основе их отношения к некоторому вопросу (в нашем случае — чуду) отбирает людей *одного и того же типа*, но испытывающих разные чувства — от восторга до отвращения. Ярые противники дела — те же люди, которые при других обстоятельствах были бы его сторонниками. «Материалист» мог бы быть добрым отцом-настоятелем; из поклонников чуда делаются при случае верные, убежденные материалисты...

4. Заключение

Надежда, чувство вины, искание чуда. Эти чувства нельзя отнять от христианского мироощущения, не подточив его на корню. Их сочетание — одно из тех плодотворных сочетаний разнородных начал, которыми жива библейская религия. Вера язычников была верой взрослых. Христианство обратилось к ребенку. И оказалось, что тот, кто обратится к ребенку в человеке — сильнее всех.

Для христианина Бог и судьба одно. Его вера — в первую очередь доверие к Богу. Тому, кто в судьбе видит самостоятельную силу — детское доверие нелегко. Христианство и тут обращается к внутреннему ребенку, чья способность радоваться, удивляться и доверять еще не ослаблена опытом жизни. Язычество — вера взрослых (насколько мы умеем такими быть).

Христианство застало мир в час упадка и сказало человеку: чадо, отвернись, пусть погибает! В этом его существо, а не в поддержке царств. Настоящий христианин равнодушен к миру. Пусть погибает! [33] Он весь — в своей душе, в своем внутреннем детстве.

Устойчивости христианства послужило и другое. Религия, основанная на Писании, более жизнеспособна, лучше сопротивляется времени, чем Писания не имеющая. Не потому, что *scripta manent*, а потому, что Писание поддается избирательному чтению. В избирательном чтении — тайна жизнеспособности и приспособляемости.

И конечно же, если бы христианство не заразило собой Старый мир, не было бы и его стремительного распространения среди молодых народов Европы. Ведь покоряла народы не столько христианская проповедь, сколько высшая греко-римская (язычниками созданная) культура. Эта культура дотянулась даже и до нашего времени — до самого края просвещенного мира, если уже не за край.

[33] Католицизм поэтому — не вполне христианство; в нем Евангелие если не побеждено, то дополнено Империей. Оттого он так обаятелен для русского человека. Мы видим в нем твердость, определенность, форму — которой нам так нехватает.

XXIX. Царство интеллигенции

П. Б. Струве заметил однажды: беда России в том, что в ней было слишком много интеллигенции, и слишком она была влиятельна. Многим это суждение покажется неосновательным. Ведь интеллигентность, интеллигенция у нас в России кажутся всесильными, нужнейшими благами, в особенности после установления «нового порядка», который жестоко — по мнению некоторых — боролся именно с ними. Так ли это?

Поговорим об интеллигенции и «новом порядке».

1. Определение

Преже всего определим предмет речи. Что мы имеем в виду, говоря об интеллигенции? Всех грамотных? Всех получивших образование? Всех, кто не занят физическим трудом? В прошедшем веке этот вопрос обсуждался не раз. Остановлюсь на определении, данном Струве. Интеллигенция, говорит он, не то же, что «образованные классы общества вообще, включая и церковь, и бюрократію, и городское сословіе». И далее:

«Интеллигенція не классъ, не сословіе, не вообще образованный слой общества и не какая-нибудь совокупность классовъ и группъ, установленная по какимъ-либо *внѣшнимъ* признакамъ. Интеллигенція есть *часть* образованнаго класса, объединенная опредѣленнымъ общественнымъ міровоззрѣніемъ, особымъ, ей свойственнымъ, *самосознаніемъ*».

Иначе говоря: «„интеллигенція“ есть часть образованнаго класса, начиненная опредѣленнымъ идейнымъ зарядомъ, <...> *вся суть именно въ идейной начинкѣ*». Такой «идейной начинкой» у нас в России были те или иные «политические истины». Непременные условия «интеллигентности» также: отсутствие религии — и безнациональность, понимаемая как чуждость не «русскому-народному» (у него-то хватало сторонников), но *русско-европейскому, имперскому*, о котором говорилось в этих очерках выше. Интеллигентность — просвещение без предания, кругозор ее ограничен умственной модой; интеллигентность всегда *сегодня*, у нее нет *вчера*. Все это входит в расширенное определение интеллигенции, данное кн. Александром Волконским:

Четыре основныхъ признака опредѣляли «интеллигента»: 1) обладаніе учебнымъ дипломомъ; 2) оторванность отъ родной почвы (des déclassés); по этому признаку интеллигентомъ будетъ и столичный адвокатъ, стыдящійся своей матери крестьянки, и князь Кропоткинъ, порвавшій не только со всѣмъ плохимъ, что было въ его средѣ (сіе было

бы только похвально), но и съ тѣмъ, что въ этой средѣ было правильнаго и достойнаго; 3) отрицательное отношеніе къ церковному началу, слѣдовательно къ существованію объективной истины; когда бытіе послѣдней не отрицалось полностью, то отрицалось по меньшей мѣрѣ отраженіе Истины въ уже данномъ намъ богооткровеніи. Отсюда безграничный субъективизмъ всего міровоззрѣнія... пока мысль не попадала въ тиски политическаго исповѣданія данной партіи; 4) отрицательное отношеніе по меньшей мѣрѣ къ русской власти, а обычно ко всякой власти и всякой государственности (кромѣ существовавшей въ мечтахъ государственности будущаго «новаго человѣчества»). Кто сознавалъ, что имѣетъ общимъ съ этими людьми лишь 1-й пунктъ, не могъ причислять себя къ интеллигенціи.

Таким образом понимаемая «интеллигенция» была силой «левой» в смысле, указанном в предыдущих очерках, т. е. заряженной *наступательным морализмом*, [34] свойственным библейской религии, однако без ее сердцевины — собственно веры. Ради этого морализма она стремилась когда-то к революции, затем — оправдывала ее дела, затем и помогала «новому порядку». Раскаявшиеся были, список их открывает А. А. Блок, но список этот немногочислен. Под конец существования «нового порядка» начался перелом в интеллигентском к нему отношении, но об этом мы поговорим позже.

2. Интеллигенция и «новый порядок»

Струве говорит, между прочим, что следует отличать интеллигенцию и «образованные классы общества вообще, включая и церковь, и бюрократію, и городское сословіе». «Новый порядок» устранил перечисленные им классы и — без преувеличения можно сказать — создал царство интеллигенции. Если погонщиками от начала и до конца были невежественные члены «партии», то волю их исполняли люди, получившие известное образование и «идейные» в упомянутом выше смысле.

Напрасно интеллигенция хочет, чтобы в ней видели исключительную жертву «нового порядка». Жертвой были прежние образованные классы, а наряду с ними все укорененные в национальной истории и культуре, все *имеющие прошлое*. В

[34] Наступательный морализм проявляется в желании подвергнуть мир цензуре. Глубоко невежественные, но высоко идейные люди предписывают писателям, философам и ученым «правильное» содержание их умственного труда, а то и внешние его формы. Вопрос: «А эта грудь не слишком ли нага?» ставит, как правило, не сапожник. Всякий ханжа уверен, что если мы запретим упоминание предмета, то и сам предмет перестанет существовать и никого уже не побеспокоит. Последний пример — запрещение на Западе слова «слепой» в переносном значении (напр., «слепой поиск»), т. к. оно будто бы оскорбляет слепых. *Слепых оскорбляет слепота*. Ханжество не причуда, не крайность, но закономерное следствие из моралистического мировоззрения.

отличие от них, роль именно интеллигенции, то есть идейно заряженных и притом образованных людей, не была исключительно страдательной. Машины пропаганды, воспитания, образования вращались их руками.

И позднейший «новый порядок», по окончании террора, имел несомненно интеллигентский облик — с *библиотекой* на месте храма, с *пользой* на месте смысла. Все сложное, важное, глубокое было из этой библиотеки изъято (кроме по ошибке разрешенного тогда Достоевского). Господствовало в ней давно известное русской образованной публике «научно-популярное» мировоззрение с его легкими, общедоступными объяснениями всего, что превосходит геометрию.

И по сей день в отношении «нового порядка» интеллигенция двойственна. Осуждая «народную власть», она одобряет революцию. Такое раздвоение возможно потому, что между «новым порядком» и интеллигенцией видится пропасть. Последняя, будто бы, ни словом, ни делом не виновата в первом; «новый порядок» был гонителем интеллигенции — и только. Интеллигенция предстает, как я уже сказал, жертвой по преимуществу. Это далеко от истины. Интеллигенция приветствовала крушение Старого мира и на протяжении всего существования «нового порядка» была проводницей его идей — за исключением последних «советских» десятилетий, когда и выработался господствующий сегодня (прежде невозможный) тип *интеллигента-циника*. Об интеллигентском цинизме мы поговорим несколько позже.

Интеллигенция, с одной стороны, самовоспроизводится; с другой — самовоспроизводится *с понижением уровня*. Понижение уровня естественно, когда нет опоры на прошлое; когда образование ограничивается передачей некоторой суммы знаний; когда на личность не накладывает отпечатка самопознание, даваемое религией и искусством. То, что было частью более широкого культурного мира, не может стать целым — разве только интеллигенция когда-нибудь расслоится и новые, независимые ее части создадут собственное предание. Однако предание создается слишком медленно. В этом главная трудность современной культуры: чтобы быть, культура нуждается в традиции, но создать ее скоро и по желанию нельзя, можно только присоединиться к уже существующей. А желания и способности вернуться в историю, присоединиться к уже существующему преданию современность не имеет, т. к. такое возвращение обесценит все мелкие ценности и всех мелких кумиров эпохи.

Культурный мир, из которого изъяты все составляющие, кроме «интеллигенции», ожидает единомыслие. This was sometimes a paradox, but now the time gives it proof. Интеллигенция есть сословие с общими мыслями. Умственная разнород-

ность дается только разностью воспитания, образования и усвоенного предания — а все эти силы давно перестали действовать. Царство интеллигенции — общество единомыслящих. Это следует не только из опыта, но и из данного П. Б. Струве определения: «часть образованнаго класса, начиненная опредѣленнымъ идейнымъ зарядомъ». *Идея* или захватывает некоторый круг целиком, или остается ему чуждой.

«Идея», применительно к интеллигенции, есть почти то же, что вера. Вера всеохватна, ревнива и исключительна. К развитию интеллигенции применимы только законы веры. Или интеллигент *верит*, или его изгоняют. История русской мысли — история изгнанников. История русской веры (начиная с середины XIX столетия) — история интеллигенции. Безрелигиозность интеллигенции этому не противоречит — напротив, это подтверждает: одна вера исключает другую.

Между этим самовоспроизводящимся слоем и «новым порядком» была определенная гармония, о которой в наши дни вспомнили, надеясь даже на ее возвращение. Дети «занимались в кружках», взрослые читали «научно-популярную литературу»... Независимой личности в кругу этих занятий не было места.

И еще об одном следует сказать. Когда со сцены ушли все образованные классы, кроме интеллигенции — даже и она, в своем прежнем составе, оказалась *недостаточно* беспочвенной для новой власти. Боясь относительно старой культуры русского Центра и Северо-Запада, эта власть позвала на помощь Юг. В 1920-е годы *Одесса* у нас победила Москву и Петербург. И поныне культурная линия «Одессы» не имеет себе противодействия; Москва же и Петербург не оставили наследников. Вернее сказать, наследство их — книги. При этом возвращение сохраненной белой эмиграцией линии русской культуры — не утратившей национальных (т. е. имперских, романовских) корней и притом преодолевшей революцию — почти ни для кого в России нежелательно, т. к. не оставит места советским и послесоветским ложным кумирам. Для процветающего теперь «творческого класса» выгоднее всего оставить национальную культуру там, где она есть — в архивах. [35]

Итак, при «новом порядке» библиотека не только стояла на месте храма. Хуже того: сочинения в ней были тщательно отобраны. Нельзя не поразиться, глядя на издававшиеся тогда книги. Подавляющая их часть написана не в силу горячего, искренного стремления создать *именно эту* книгу, выполнить именно эту

[35] Воспитанное новым порядком безоговорочное «приятие революции» заставляет даже филолога, признающего красоту традиционного правописания, прибавлять, что «конечно же, ничего возвращать не нужно». Таково и их отношение к прежней культурной линии: «конечно, не нужно».

работу; ни за одной почти книгой не стоит личности, если это не тома классиков — обезвреженных пропагандой и тем, что я называл в прежних очерках «искусством мимосмотрения». Всё это книги *для развлечения*, не затрагивающего душу и ум. Даже гуманитарное знание было иссушено и обезврежено, выражалось при помощи обессиливающего творческий труд и читательское понимание жаргона.

3. Самопознание на жаргоне

Утрата ясной, прозрачной, проникающей в свой предмет речи означала гораздо больше, чем простое падение литературного качества.

Я уже говорил о том, что люди, у которых время отняло способность выражения сложных мыслей, и себя понимают не сложнее, чем могут выразить. Все опрощается: понимание себя, своего места в мире, мира и жизни в целом. Даже «ученый» класс безъязыкий, а вернее — чем «ученее», тем хуже, т. к. «научной» считается только речь, непонятная самому говорящему, полная «слов со смутным значением», как указывал еще Зощенко.

Ведь что значит — отнять способность точного выражения мыслей? Отнимаются не просто слова, отнимаются самые первозданные понятия. Вместо «достопримечательность» полуобразованный говорит: «интересный культурный и социальный объект». Это невыразимо комично и бессмысленно, зато — по мнению говорящего — обличает его ученость. В приложении к философии, всякому мышлению о глубоком и первоначальном — это приводит к лепету, перемалыванию обрывков чужих мыслей, вообще к попыткам заменить *мышление* — сопоставлением цитат.

Нет самопознания на жаргоне, нет и поэзии. Поэзия требует ясности, высшей осознанности, ей не годятся смутные слова. Самопознание дается или религией, или поэзией, или соединением обеих. Тут и там человек находит готовые формулы, которые может или буквально приложить к себе (что все делают в детстве и юности), или использовать в поиске формулы своей собственной, незаемной. Человеческое — зыбко, неопределенно, двоится, чугунные слова «обезьяньего языка» его не выражают. Лучше всего для передачи «человеческого» подходит поэзия,

«разсказъ о томъ, какъ Богъ (жизнь, сущность времени) пронизываетъ человѣка; религіозный опытъ со стороны индивидуальнаго въ немъ»,

как говорит Борис Поплавский. Шекспир, Библия — наилучшим образом воспитывают сознающую себя личность именно потому, что они менее всего

«научны», они о частном, личном, тайном. Кто воспитан условной «библиотекой», «научно-популярным мировоззрением», уверен, что «ничего сложного в человеке нет — простые процессы возбуждения и торможения», тот никогда не придет к высшему развитию. Мы то, во что верим и — прибавлю — то, что мы можем выразить.

4. Цинизм как защитный прием

Удаленность от культурных корней, потеря способности ясного выражения мыслей, отказ от самопознания — в сочетании с непрерывной ложью «нового порядка», которой всякая хотя бы отчасти мыслящая личность пыталась сопротивляться, — искажали на корню старый интеллигентский тип.

Интеллигенция, благодаря каким-то темным подземным корням, долгое время видела добродетель в воздержании от цинизма; упражнялась если не в вере, то к доверии к определенному кругу предметов. Тип *интеллигента-циника* выработался достаточно поздно, когда «новый порядок» из угрозы стал посмешищем, однако смеяться громко было еще небезопасно. В наши дни этот тип вырос, укрепился, расцвел. Еще в начале прошлого века, да что там — еще во «внѣземельной Россіи» 1930-х гг. этот тип был крайне редок, почти не встречался.

Однако уже тогда был Г. Адамович — прообраз русского литератора новейшего времени, то есть охлажденный циник. «Убьетъ литературу, — говорил Адамовичъ, — ощущеніе никчемности. Будто снимаешь листикъ за листикомъ: это неважно и то неважно (или нелѣпо въ случаѣ ироніи), это — пустяки, и то — всего лишь мишура, листикъ за листикомъ, безжалостно, въ предчувствіи самаго вѣрнаго, самаго нужнаго, а его нѣтъ».

Эта фраза: «всё ненужно» — венчает определенный тип развития. Лишнее подтверждение тому, что в искусстве, в области мысли материалисту делать нечего, т. к. если все умирает — то в самом деле все бессмысленно, все ненужно, зачем трудиться? А современную русскую культуру губит не только полупросвещенность, но и всеобщий, впитанный с самого детства материализм, вера в то, что ничего, кроме материи, на белом свете и нет. Кроме успеха и денег, кроме попечительной государственной власти, которой готовы рукоплескать, пока не иссякла ее щедрость, и притом ненавидеть ее только за то, что она — власть. Плоды такой «культуры» даже не ядовиты — они ничтожны.

Адамовича и последователей убивает отсутствие опыта духовной жизни. У Адамовича — непростительное, обязанное внутренней сухости и безблагодатности; у последователей — вынужденное, воспитанное с детства. Они знают вещи и только вещи; духовная жизнь для них — нечто далекое, может быть, «церковное»... «Въ искусствѣ, — отвечал Адамовичу Ив. Лукаш, — единственно-важно

самобытіе художника. Онъ долженъ прежде всего (и это самое трудное) стать... *самобытіемъ*, оставить все чужое, кромѣ своего, если оно есть, „быть самимъ собою“», то есть — продолжим мысль Лукаша, должен привыкнуть *жить внутри себя*. Этого дети «нового порядка» не умеют. Они живут только «в коллективе» и «с коллективом», только с внешними целями и ради внешних целей...

Задача циника — обессмыслить все вокруг. Если этот циник занимается литературной критикой, например, ему нужно доказать, будто русские писатели только и мечтали, что об опрощении и бесформенности. Для такого критика вся целеустремленная и формообразующая эпоха Романовых — с Пушкиным, Достоевским, сложной (и всегда непризнанной современниками) мыслью — нож острый; ее нужно низвести до маловажной величины. Тут идут в ход двусмысленные ссылки на Чехова: Чехов, де, ни разу не упоминает Достоевского, потому что понимает его ничтожность. Циник вообще склонен ссылаться на других, на «все знают»: в одиночестве ему неуютно.

И еще циник любит чувствовать себя «современным». Все ему ненужное он отправляет в прошлое, к отсталым предкам. Для такого ума всё важное, цельное, жизнеопределяющее — было «когда-то раньше», но давно уже не существует; современность для этих людей пуста, лишена всякого смысла; смыслы и ценности были в прошлом, современность их может только «изучать». В действительности всё важное *вечно* — а значит, *сегодня*: философия, Бог или боги, судьба, борьба за культуру (прибавлю) против революции...

Цинизм разрушает не только пораженную им душу. Он еще и препятствует любому общекультурному развитию, т. е. движению «вперед и вверх». Когда верх берут циники — культура превращается в болото, в котором «все ненужно», кроме успеха и денег. Но надо признать: в своих истоках интеллигентский цинизм был средством если не сопротивления революции, то приспособления к ее всеохватной лжи.

5. «Революция» как моральное понятие

Поговорим о революции.

«Революция» — такое же неопределенное, смутное слово, как и «интеллигенция». Как правило, с ним соединяется определенный моральный пафос: «восстание народа», «сопротивление угнетению» и так далее. Пафос этот совершенно международен, один и тот же в России при «новом порядке» и, скажем, в Соединенных Штатах. Это неудивительно, ведь и современный Запад — дитя мятежа.

«Революция» в наши дни — исключительно моральное понятие. В революции «историческое» мышление видит то, что наши предки называли «карой Господней». Пора, однако, развенчать это понятие, лишить его морального обаяния.

Пора понять, что революция есть *несчастный случай*. Она не имеет никакого отношения к «восставшему народу», «борьбе за права» и прочему в том же роде. Народ вкладывается в *погром*, ставший возможным благодаря крушению государственного порядка, но это происходит уже *после* революции.

У нас в России «революции» предшествовало длительное помутнение рассудка, вызванное левым движением, корни которого тянутся до последней четверти XIX века. Истинный смысл неравенства в том, чтобы с высоты, которую дают богатство и культура, просвещать непросвещенных, образовывать необразованных. У нас же в России средне-высший класс, напротив, изнывал от собственной культурности (читай: *силы*) и мечтал о том, чтобы образованных приравнять к необразованным. Добровольная слабость была его идеалом.

А. Салтыков вспоминает о времени своего учения в Поливановской гимназии (1880-е гг.):

«Была у насъ и иная струя, шедшая извнѣ, изъ окружающей атмосферы. Это была струя всеобщаго упрощенія и опрощенія, по существу чисто большевицкая. Кое въ чемъ прикровенно, а кое въ чемъ и вполнѣ открыто, — это теченіе отвергало всю іерархію установленныхъ цѣнностей жизни. Такъ было въ нашей гимназіи. Что же было въ остальныхъ?.. Достаточно, впрочемъ, проглядѣть журналы того времени — и даже болѣе ранней эпохи — чтобы увидать, какъ большевизмъ веръ, въ теченіе десятковъ лѣтъ, на Россію, хотя онъ и не имѣлъ еще имени, чрезъ тысячи щелей, а порою даже — широкими дорогами».

На всем протяжении царствования Николая II, чем дальше, тем больше, Россия была в тумане марксистских и народнических грез, в обольщении «нового порядка». Уравнительно-опростительные мечты кружили головы. Пережитым и осознанным *прошедшим* революция стала только для «внѣземельной Россіи». Белая эмиграция была не просто «продолжением старой России». Напротив, она была Россией будущего — живым преодолением революции и того народнического, упростительного духа, который к ней привел; в «материковой» России, напротив, народнический дух победил, культура вернулась в 1860-е годы и в них осталась, чтобы после падения «нового порядка» удариться в разнообразное распутство.

Нужно подчеркнуть: в России никогда не было «революции» в том детском смысле, какой этому слову придают левые. Было совпадение во времени трех разнородных явлений: религиозного по сути брожения умов «интеллигенции», смутного крестьянского недовольства, подогреваемого городской пропагандой, и

солдатского, а точнее, дезертирского бунта в 17-м году. Ко всему этому прибавлялись слабоволие и «христианские» настроения Императора. Не будь первого из этих обстоятельств — умственного повреждения интеллигенции, — не сыграло бы роковой роли и третье. Что же касается крестьянства — интеллигенция походя лишила его доверия к Царю, на котором держалось русское государство. Чтобы утверждать это, не нужно быть монархистом: достаточно и простого здравого смысла...

6. Заключение

Казалось бы, всё сказанное — чистая *культурная археология*, не имеющая никакого отношения к современности. В действительности все перечисленные силы продолжают действовать и сегодня. Культурный слой, видящий в себе сообщество избранных, преследуемых за правду, наступательно-моральный, когда речь идет о противниках, и снисходительный, если дело касается друзей — сейчас в небывалой силе. Продолжительное падение образовательного уровня (всё больше «фактов», все меньше «образования»), легкость обмена мнениями и усвоения поверхностных сведений, даваемая всемирной сетью — все это способствует его расцвету.

Что касается «идейной начинки», то левое движение наших дней нашло новую точку фокуса: либеральную идею, предлагающую людям, в области мнений и поведения, не «состязание», а бесплодное формообразование, причем по возможности во второстепенных вопросах. (Что удивительно: эта вера в «формообразование» свободно сочетается у многих с верой в «последнюю истину», доступную только избранным.) Нередко это формообразование подается как добросовестно сохраненное эллинское наследство. Притязания необоснованные. Суть эллинства: *состязание как способ нахождения лучшего*. Однако либеральная идея убеждена, что «лучшего» нет; а социализм свое «лучшее» знает заранее. Где есть «единая истина» — какие могут быть «состязания»?

При этом делаю обычную оговорку: состязание есть *аристократическая идея*; простое формообразование, о котором так пекутся либералы, ничего общего с состязанием и поиском лучшего не имеют. Вообще так называемые «толерантность» и «плюрализм» глубоко чужды всякому состязанию. Они требуют восхищения всякой деятельностью, хотя бы и лишенной всякой ценности, или еще хуже — с отрицательной ценностью. Утверждающие, будто у современного Запада эллинские корни — умалчивают о том, что состязание без *оценки* и без идеи *лучшего* было бы, на взгляд греков, пустой забавой.

Не будем же ни либералами, ни интеллигентами. Будем искать лучшего, причем «лучшего» не с точки зрения морали, особенно — партийной морали. Лучшее, определяемое морально, слишком удобопревратно и зависит от того, против какого врага будет направлена эта мораль. Для человека умственного труда достоинство без притязаний на «избранность», глубина мысли, ясность речи, самопознание — те общедоступные, при некоторых усилиях, виды лучшего, которые не зависят от нашего понимания нравственности. А если они не служат борьбе с «мировым злом» — тем лучше. Расчеловечивание, как показал опыт новейших социализмов, чтобы не ссылаться на более ранние эпохи, приходит как раз на пути последней и решающей борьбы со «злом».

XXX. Социализм и юность

Когда речь заходит о заслугах «нового порядка» в России, в первую очередь вспоминают его заботы о просвещении и воспитании, начиная с распространения грамотности. Эти заботы — отчасти вымысел, отчасти правда. Новую власть и в самом деле заботили дети и юноши, а вернее сказать — их умы, в гораздо большей степени, чем власть императорскую. Можно даже сказать, что социализму (в классовой и расовой его разновидностях) был свойствен настощий *культ молодости и силы*. Почитание молодости, заискивание перед ней — и притом суровое побуждение к единомыслию. У этого культа были причины как политические, так и общекультурные. Политически — юность была лучшей союзницей в деле разрушения Старого мира. [36] И сам социализм, как весенние мечтания, легче всего захватывал молодых. Трудно представить себе зрелого человека, увлеченного «справедливостью для всех». Но была и вторая причина этого обостренного внимания правящего социализма к юности. Как говорит Платон в «Государстве»:

«Во всяком деле самое главное – это начало, в особенности если это касается чего-то юного и нежного. Тогда всего более образуются и укореняются те черты, которые кто-либо желает там запечатлеть».

Деятели «нового порядка» никогда, сколько известно, не ссылались на Платона, но мыслям его следовали. Важнейшим для них вопросом (после подготовки к войне) было воспитание юношества, вернее сказать — воспитание в юношестве «правильного» образа мыслей. Здесь разница между просвещением «старого» и «нового» мира: прежнее правительство заботилось прежде всего о формировании личности, не о ее мнениях.

Прежде всего надо уточнить: «новому порядку» нужен был не мыслящий, поднятый до уровня прежнего образованного класса «народ». Ему нужна была чис-

[36] Самый тип «зрелого мужа» исчез в России (мы не можем знать, что было бы с ним при «новом порядке» германского образца). Изгонялся даже такой поверхностный и неверный признак зрелости, как борода. Неудивительно, что при конце «нового порядка» борода стала признаком некоторого свободомыслия.

Если христианское предпочтение старости было неестественно и вызывало неизбежное скрытое противодействие, то это господство отроков и юниц было не менее неестественно и более вредоносно, т. к. отрицалась не зрелость как таковая — отрицались разум и опыт. Опорой «нового порядка» были эти оставленные без попечения дети, лишенные возможности внутреннего развития, мечтающие только о достижении внешних целей.

ленно выросшая и качественно ослабленная интеллигенция, т. е. класс оторванных от культурной почвы технических исполнителей. [37] Эта потребность произвела (не только у нас в России) небывалое прежде число людей, образованность которых сводится к умению читать и писать, т. е. к простой грамотности. Книга стала для них, во-первых, привычным развлечением, а во-вторых, источником «истин», принимаемых тем более религиозно, чем меньше места религия в известных нам формах занимает в современной жизни. П. Муратов говорил об этом новом образованном классе:

«Ни особаго ума, ни особой умственности не требуется вѣдь въ тѣхъ современныхъ занятіяхъ, которыя все же неизвѣстно почему горделиво отдѣляютъ себя отъ труда ремесленнаго, фабричнаго, ручного».

Научившийся читать, в силу естественного заблуждения, считает, что умеет и думать. Это не личное заблуждение, но широко распространенный и укоренившийся предрассудок. Борьба за распространение грамотности подавалась «новым порядком» как борьба за освобождение умов. На деле грамотность не столько освобождает ум, сколько делает его более восприимчивым для пропаганды. Поведение «грамотного» определяется *его чтением* в гораздо большей степени, чем обычаями и нравственными правилами. *Книга освобождает от почвы* — во всяком случае, в первом поколении читающих. Впоследствии книга создает новую почву, новую традицию — от которой и оторвали Россию в 1918-м году силой жестокой цензуры и изменений в правописании (потому что, повторю это снова, орфография — вовсе не «технический» вопрос, решение которого можно предоставить техникам).

Однако помимо и независимо от «умения читать» существует *искусство чтения*. Кратчайшим образом его можно определить как взаимопроникновение личности с книгой. В чтении мы находим не просто «факты» — поскольку речь идет об искусстве, не об умении, — в чтении мы находим себя. С удивлением личность встречает рассыпанные по страницам истины о себе самой; зачастую — прежде всякого жизненного опыта, в детстве и юности. Книга дает нам одновременно ключ к самим себе — и образец, путь усложнения и роста. Искусство чтения — целиком относится к области труда и развития и роста. С простым

[37] Эта интеллигенция и пытается ныне, на наших глазах, представить себя жертвой социализма — будучи его создательницей (первичной питательной средой) и в еще большей степени созданием. Социализм и интеллигенция находятся в тех же отношениях, что *вода и рыба*.

«умением читать», с чтением ради отдыха и развлечения его роднят одни только *буквы*.

Искусство чтения находится во вражде с известным: «книга — источник знаний». Там, где книга действительно «источник знаний», она или орудие, или, хуже того, средство порабощения человека книжным «истинам». Полуобразованность есть именно подчиненность книге. Истинные отношения личности и книги — отношения совместного труда. Привычка к чтению не означает привычки к работе над и вместе с книгой. «Начитанный» не то же, что «развивший свой ум». «Начитанность» скорее противоположна культурности, как развитию судящей силы. «Умение читать» — пассивно, и при неблагоприятных обстоятельствах не развивает ум, но подчиняет его книге.

Пора признать: *книга не благо*, во всяком случае — не *безусловное* благо. Книга может быть единомысленна с «забором», книга сама может стать таким «забором» (как стала им на наших глазах «всемирная сеть»). Благородства в книге не больше, чем в том, кто ее пишет.

***

Всеобщая грамотность в сочетании с правительственным заказом способствовали развитию двух родов литературы: так называемого «научно-популярного» (исходно задуманного ради проповеди атеизма, а впоследствии скорее развлекательного) — и «детского». Последний, как и первый, со временем от воспитания перешел к развлечению.

Процветание «детской литературы» при «новом порядке» имело двойные корни. Приток талантливых сил был ей обеспечен, во-первых, несколько меньшим цензурным гнетом, чем в остальных областях искусства, а во-вторых — сознательным правительственным заказом. «Партия» хотела, в первую очередь, воспитать детство и юношество в желательном направлении; со временем «воспитание» превратилось в развлечение. Но и такая литература для юношества отвечала правительственному запросу, т. к. приучала к чтению легкому, не пробуждающему мысль.

В случае с «детской литературой» сама постановка вопроса ложная. Да, в литературе есть место книгам, написанным в первую очередь для детей. Но все лучшие «детские» книги хороши и для взрослых; и немало «взрослых» книг, в свою очередь, совершили путешествие на детскую полку. Общее правило таково: детский ум развивается почти исключительно книгами «взрослыми» — кроме, может быть, тех, что слишком сложны по мысли или требуют от читателя собственного опыта жизни. Предложить ребенку исключительно «детскую» литера-

туру значит ограничить его детскими же умственными запросами. Эту ограничительную роль «детская литература» и исполняла до своего исчезновения в 1990-е.

***

Культура, понимаемая как грамотность и освобожденная от почвы, от умственной сложности (техническая сложность и умственная — совсем не одно и то же), выработала и упрощенный язык — перегруженный, однако, неуместными иностранными заимствованиями.

Можно сказать: иностранщина царила в русской речи и во времена Петра. Но не следует сравнивать петровских «генерал-аншефов», «букли» и «виктории» — и мертвенный язык нового порядка с его «организовывать», «реагировать», «ситуация», «реальный», «конкретный» вместо *откликнуться или отозваться, положение или случай, настоящий или действительный, определенный или точный*. Язык петровского времени оставался национален, пестря заимствованиями там, где не находилось (или казалось, будто не находится) готовых русских речений. Язык нового порядка последовательно безнационален, т. е. мертв; последовательно заменяет всякое руское речение, вернее — целые гнезда русских речений на плохо переваренные иностранные заимствования. [38]

Речь идет не о заимствованиях для помощи, но о последовательном уничтожении родной речи. Вершина этого развития — личность, буквально неспособная связать несколько слов по-русски, то есть говорящая так:

«Если вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации».

Впрочем, в отношении языка «новый порядок» был не злонамерен (кроме своих мечтаний об опрощении). Его безъязычие — естественное следствие полуобразованности, которая все отечественное презирает и всегда хочет казаться иностранкой. Петр и его люди не были полуобразованны. (Они были или плохо образованны, или необразованны вовсе.) Полуобразованность пришла в Россию позже, во времена Екатерины. Новиковский «Живописец» и сегодня вопиюще современен:

[38] Чем больше русских слов забывается, обессмысливается, тем больше «нужда» в притоке иностранных. Яркий пример — ужасное слово «специальный», по-русски означающее «относящийся к узкой области знания», а вовсе не «устроенный особым образом». Теперь по-русски все называется «специальным», без различия смысла.

«Некоторые ненавистники писмянъ новаго вкуса утверждаютъ, что ко всякому сочиненію потребенъ разумь, ученіе, критика, разсужденіе, знаіне россійскаго языка и правилъ грамматическихъ — устыдитесь, государи мои, строгіе судьи, устыдитесь своего мнѣнія; оставьте ваше заблужденіе: посмотрите только на молодыхъ нашихъ писателей, вы увидите, что они никогда вашимъ не слѣдуютъ правиламъ. Вы то проповѣдуете, чего не было, или что вышло уже изъ моды: кто же будетъ вамъ слѣдовать? Право никто. По малой мѣрѣ, мы, молодые люди, никогда не отяготимъ памяти своей ненужнымъ знаніемъ; да это и похвально: для чего безъ нужды трудиться? На что разумъ, когда и безъ онаго писать можно?»

***

«Обезьяний язык», как назвал речь полупросвещенного класса Зощенко, знаменует переход от взрослого мышления к детскому. Ребенок мыслит *словами*. Понятия, которым эти слова соответствуют, для него туманны. Надо много учиться, чтобы от слов перейти к *понятиям*, для которых ум, продумав эти понятия, подбирает *верные слова*. Путь умственного труда — от предмета мысли к слову, не от слова к другим словам. Погружение в предмет, бессловесное на своей глубине — признак зрелости. Всё остальное — игра словами. Современная мысль ближе к последнему. [39]

В том-то и дело, что мышление — не слова, а нечто такое, что глубже слов. Простое «умение читать» не помогает мыслить, напротив — может даже мешать, если не сопряжено с умением *несловесной работы ума*, молчаливого погружения в предмет мысли. Поверхностное образование тем и отличается от настоящего, что знакомит учащегося не с вещами, а с их названиями. Когда невоспитанный ум хочет мыслить, он ударяет словами о слова, и получает *слова же*.

***

Итогом описанного движения стал многочисленный и гордый собой новый образованный класс, сам себя называющий «интеллигенцией». Самосознание не его сильное место; сословная гордость, если можно так выразиться, в нем сильнее всего личного, неповторимого. А ведь образованный человек Старого мира был прежде всего человек, себя сознающий. Теперь же можно жить одними инстинктами в сочетании с обрывками «просвещения», чередуя споры о названиях предметов с нравственными, то есть не имеющими отношения к делу, оценками. Я не говорю сейчас о множестве людей трудолюбивых и не злонамеренных,

[39] Вот один из множества примеров «мышления словами»: «Миф перестает существовать, как только превращается в дискурс. Любой пересказ, а тем более анализ, уничтожает самую суть мифа — первичное единство. Никому, в том числе и самим грекам, начиная с Аристотеля, не дано воспринять миф как таковой. Но есть момент, когда миф наиболее полно являет себя в слове, и этот момент — поэтический образ. Художественный образ, рассматриваемый как актуализация потенциальных возможностей слова на пути от мифа к логосу, мы и называем мифологемой».

занятых умственным трудом в привычном им виде — они неприметны; я говорю о людях громкоголосых, честолюбивых и в том или ином виде захваченных новым социализмом.

Об этих людях кратчайшим образом можно сказать: «ни разу не задумавшиеся». Умственную пищу, полученную от «нового порядка», они самым добросовестным образом усвоили, и теперь с удивительной точностью воспроизводят мнения и поступки своих прадедов.

На все «сословные притязания» этой новой интеллигенции следует отвечать: интеллигенция только *frontier*, граница между бескультурием и культурой. Ничего хорошего во *frontier*-е нет; он только знак, указатель направления: «по эту сторону — просвещение». Это промежуточное состояние, не цель.

Интеллигенция нового и новейшего времени не только воспитывалась на «детской литературе», но и проявляет себя исключительно детски. Выработанное мировоззрение для него — слишком большая роскошь. Тип зрелого мужа, как я заметил выше, давно не существует. Зрелость просто не может быть ценностью в среде, образ мысли и речи которой определяется не личностями, но толпой. Тонкость мнений, ясность высказываний не просто второстепенны, но недопустимы в среде, главная добродетель которой — быть подобным соседу. Пресловутые «смелость и честность» суть стадные чувства. «Смело и честно» высказываются оценки, нимало не основанные на знаниях и размышлениях, совсем напротив — основанные на вере и переимчивости. Здесь правят, как говорил Дж. Ст. Милль, *received opinions*.

Это вечные юноши, никогда не взрослеющие. Мировоззрения они не имеют, потому что мировоззрение свойственно мужам, не отрокам. Отроки имеют «убеждения»; страстные привязанности и отталкивания, основанные на какой-нибудь «идее». Пора признать, что способность волноваться дурно понятыми «общественными интересами» есть низменная способность... Передовые убеждения суть последнее оправдание неуча. Вспомним, что Розанов говорил о «русской оппозиции»:

«Русскій лѣнивецъ нюхаетъ воздухъ, не пахнетъ ли гдѣ „оппозиціей“. И, найдя таковую, немедленно пристаетъ къ ней и тогда уже окончательно успокаивается, найдя оправданіе себѣ въ мірѣ, найдя смыслъ свой, найдя, въ сущности, себѣ „Царство Небесное“. Какъ же въ Россіи не быть оппозиціи, если она такимъ образомъ всѣхъ успокаиваетъ и разрѣшаетъ тысячи и милліоны личныхъ проблемъ».

Им свойственно великое, непобедимое легкомыслие. Они не задумываются — зачем, ведь все написано в книгах? Человек этого типа просто не знает, что все важнейшие вещи из книг не вычитываются; целая область личного развития остается для него закрытой... И будет закрытой, пока не поднимется в русском человеке желание зрелости, сложности.

XXXI. Место в истории

После падения нашего «нового порядка» прошло уже тридцать лет. Робкое и непоследовательное отталкивание от социализма в сочетании с заискиванием перед всем иностранным — ушло. Оно сменилось заискиванием перед «новым порядком» при полной и окончательной отравленности полупереваренными иностранными влияниями. Нет правительственного чиновника, который мог бы выразить свои мысли словами русского языка; при этом девиз нынешнего царствования — своего рода «консерватизм», однако же неглубокий: охраняемые им ценности восходят всего лишь к середине XX века.

Поговорим сегодня о современности. Где мы находимся; чему свидетели; что это за место в истории? Хочет ли Россия знать, где она находится и к чему идет?

1. Сила перетолкования прошлого

Начнем издалека.

Еще не так давно, в «старом мире», общенародно известной (не говорю: понимаемой) книгой была Библия. Начинается она с Ветхого Завета. Что такое Ветхий Завет? Ответ древних книжников на разрушение Иерусалима и гибель иудейского царства; система понятий, продуманная и придуманная после падения старого порядка: государства и его религии. Библия занимается перетолкованием прошлого ради придания смысла настоящему. Смысл был нужен людям, вернувшимся из плена на старые развалины, прежде всего остального. По сути дела, «древний Израиль» был два раза фантастически пересоздан: один раз ветхозаветными авторами, другой — вчерашними европейскими язычниками, перенимавшими библейское мышление и библейские смыслы. Даже три раза, если считать Реформацию: замечательный пример того, как жизнь вдохновляется созданными воображением образами, древней идеологией, т. е. чем-то предельно далеким от фактов. Собственно говоря, и превращение римлян и эллинов в христиан было, в умственном отношении, подчинением идеологии, которая и у себя дома, в свое время исходила из произвольно подобранных, перетолкованных или измышленных фактов.

Возвращенным на старое пепелище иудеями нужно было восстановить традицию. Новый порядок должен был стать продолжением, а не нововведением; быть и современным, и древним. Смелой рукой они создавали прошлое... Из европейских народов пока только русские пережили библейский опыт уничтожения государства. Разрушение исторической России — основной источник вопросов для русского ума, поскольку этот ум осознаёт свое место в истории. Мы тоже стоим перед потребностью в *переосновании* государства. Как мы на эту потребность

отвечаем? И в каких условиях произойдет это переоснование? Что происходит с европо-американским культурным миром, которого частью является и Россия?

Поговорим об этом подробнее.

2. «Социализм третьего пола»

Главное, вероятно, явление наших дней — происходящая в странах Запада либеральная (по сути своей социалистическая) революция. Среди самых заметных ее проявлений — рассвобождение «третьего пола», проповедь уравнения этого пола, во всех его разновидностях, с обыкновенными мужчинами и женщинами. Русских наблюдателей эти требования или веселят, или возмущают, и мало кто видит за ними провал западного христианства. В эмансипации «третьего пола» некоторые у нас видят даже «заговор капиталистов», имеющий целью ограничить рост населения... Ход мыслей неудивительный, но и неплодотворный.

На самом деле, конечно, это не «капиталисты» выдумывают, чем бы еще досадить народам. Это христианство проваливается в давно образовавшиеся под ним пустоты. В пустотах тлеет огонь социализма, пусть и в новых его воплощениях.

В известном смысле, не было бы христианства, не было бы и социализма. Социализм — скрытая болезнь когда-то христианской части мира. Он мина, заложенная под любое *в прошлом* христианское общество. Связь социализма с «пролетариатом» условная и временная. Первый признак социализма — этическое отношение к не имеющим этического измерения вещам. Этическое вытекает из обиды и питается гневом.

Этическое мировоззрение есть всегда мировоззрение осуждающее. Либо мы принимаем мир и действуем в нем, либо *занимаемся этикой*. Этика есть «оппозиция» к миру. Этические ценности — всегда отрицательные. Пророки, как замечает Дж. Гарбини, больше говорят о том, чего делать нельзя, и мало что предлагают взамен. Когда Этическое (как оно проявляет себя в общественной жизни) придумывает себе «положительные ценности», они оказываются в лучшем случае странными (благополучие «третьего пола»; «кухарка», управляющая государством; «триумф воли»).

Все социализмы (левые движения) в карикатурной форме воплощают какую-нибудь библейскую идею: любви к ближнему или избранного народа. Последняя вдохновила как классовый, так и национальный социализм; карикатуру на любовь к ближнему мы видим в «политически корректном» либерализме, понимающем человека как жалкое существо, которое всякий может обидеть произнесением запретного слова. Надо думать, что пока не выдохнется левая идея — не произойдет и прощания с предыдущей эпохой.

Если христианство воспитывало внимание к *внутреннему человеку*, личность молчаливую и сосредоточенную, то все его светские заменители этим вниманием к внутреннему не обладают, даже напротив — согласным хором отвлекают личность от внутреннего, направляя все ее внимание к внешнему. Но как и христианское учение, социализм хочет быть всем и для всех. *Левое* — универсальное, *правое* — частное. Если вы видите мировоззрение, которое предлагает последнее и окончательное объяснение или переустройство общества или мироздания, это воззрение левое, как бы оно себя ни называло. (Смешно сейчас вспоминать «союз правых сил», созданный в России людьми, чуждыми всякой религии и традиции). Наступательная всеобщность — отличительная черта «левого».

Как показал исторический опыт, социализм — всеразъедающая кислота, и угрожает не только «престолам». Сейчас он грозит либеральной демократии — т. к. она, как и монархия, недостаточно элементарна, слишком сложна для черно-белого моралистического мировосприятия. Демократия не знает другого «зла», кроме местного и временного соперника на выборах. К борьбе за «единую истину» она не приспособлена...

Но что означает «провал христианства»: потерю «веры»? уход религии из общественной жизни? неспособность волноваться «вопросами, превосходящими геометрию»? желание наслаждаться жизнью без способности спрашивать о ее смысле, истоках и будущем продолжении? Всё это вместе, но в первую очередь мы видим утрату христианских ценностей при сохранении душевного склада, христианством же созданного. В этом противоречии — корень социализма, вновь и вновь вспыхивающего в Европе, начиная с XIX столетия.

Почему угли социализма все тлеют, никак не прогорят? Потому что жива христианская психологическая основа, делающая социализм возможным. Я говорил уже, что народы, не знавшие христианства, не подвержены и социализму (хотя «новый порядок» и разжигал большие и малые костры в странах Востока и Африки). Однако надо различать почву и цели. Жажда «нового мира», моральный пафос могут направляться в любую сторону. Сейчас их цель — рассвобождение пола, а точнее, *третьего* пола, наиболее стесненного в христианские времена.

Всякое действие имеет свое противодействие. Пригнетенность европейского рабочего некогда заставила социалистов увидеть в этом рабочем «избранный народ» наших дней. Теперь место «избранного народа» за третьим полом, и по той же причине: *страдающие суть избранные*. Действенность и сила страданий — не главное здесь; главное — извечная тяга к уравнению гор и долин (в непосредственном политическом применении означающая преимущество «долин» и

угнетение «гор»; ни один «защитник угнетенных» не успокоится, пока угнетенные не станут угнетателями, вернее сказать, пока машина угнетения не начнет клясться их именем). Более того: моральный пафос требует не тех действий, которые были бы наиболее оправданны и полезны для «угнетенных». Нужна не польза, а чувство борьбы с мировым злом, усугубление раскола, усиление вражды.

На самом деле, судьба «третьего пола» заинтересовала новейший социализм по чистой случайности. Свой кризис, «суд», переживает сейчас целое мировоззрение. Взгляд на вещи, во всем видящий «грех» — неуловимый, всепроникающий, — проваливается в пустоту. Как говорится в дневниках поэта Б. Поплавского: «Бытіе и грѣхъ тождественны, оставшись безъ грѣха, я остался и безъ бытія». Жизнь, понимаемая как сплошной грех во всех своих проявлениях, кроме узкого круга моральных переживаний и действий, не может больше продолжаться.

3. Этическое «всё или ничего»

Социализм, в качестве наступательно этического мировоззрения, требует «всего или ничего». Здесь он, как и во многом другом, непосредственный наследник христианства. Вспомним о главных словах Нового Завета: «итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». «Будьте совершенны» — божественного звучания струна, которая не может не лопнуть. Кто желает «всего», оставляет неготовых принять эти требования *без ничего*. Христианство требует напряжения всей личности; по отношению к его ценностям можно быть или рабом, или якобинцем — середины нет. И после себя оно, как всякое всеобъемлющее мировоззрение, оставляет пустоту. Приземленной карикатурой на христианство было и мировоззрение «нового порядка»: такое же всеохватное, всеобъясняющее, оставляющее по себе пустоту.

Мир никак не может оправиться после господства «единой истины»... Ему нужно множество частных истин, а он по-прежнему мечтает об одной. Нам нужно научиться жить для себя, а не для какой-то «бездомной идеи»... (Особенно это важно для русских, у которых и прежде не было иных ценностей, кроме «идей», будь то «святая Русь» или «новый мир».) Но из-под власти идей трудно выйти. Уйти от христианства значило бы выйти из тени, которую отбрасывает Библия. Большевики, скажем, упразднили Библию, находясь всецело в ее тени. Когда-нибудь, возможно, мы научимся определять человеческое достоинство не на христианских основаниях — но время это еще не настало.

4. Апокалипсис как убежище

В России видят происходящее на Западе, но не знают, как его понимать. Самое близкое к истине мнение состоит в том, что в Европо-Америке происходит революция, подобная нашей, и «идеология» торжествует над фактами. Подоплеки этой революции, однако, не видят — кроме, разве что, заговора капиталистов или «троцкистов» (есть и такое мнение). Вообще вера в заговор, злую волю — самая распространенная у нас. Она хорошо согласуется и с нашим апокалиптическим взглядом на вещи, и с верой в «гниющий Запад».

Излюбленный русский обман зрения — видеть апокалипсис там, где есть только трудности развития и роста, «кризис», т. е. *испытание*. Сейчас апокалипсис принято видеть на Западе. Это избавляет от оценок, размышлений и поисков смысла событий, и в то же время укрепляет веру в собственную праведность.

Точка зрения, согласно которой Запад «гибнет», а тому, что осталось от России, следует от него отгородиться — как удобна, так и неполноценна. Она, во-первых, извиняет все местные пороки, как коренные, так и унаследованные от «нового порядка»; во-вторых, благословляет разрыв с единственным возможным для нас источником культуры; в-третьих, потакает привычному апокалиптическому, оно же «историческое», мышлению, которое во всяком кризисе видит заслуженную кару. Не говоря уже о том, что даже переживающий испытание Запад все равно богаче и сложнее в любой своей части, чем послереволюционная Россия.

Мы не хотим знать, что переживаемый Западом «социализм третьего пола» исторически обусловлен, в частности — христианским враждебно-гнушающимся отношением к полу (и определенным оттенкам половых отношений). Удивительно, что в стране, где почти век господствовал т. н. «исторический материализм», никто не видит исторических обоснований современных событий. Впрочем, неудивительно. Под «историческим» фасадом марксизма таилась вера в чудеса и произвол; как и в ленинском «учении» от Бланки было гораздо больше, чем от Маркса.

5. Ложное охранительство

Итак, «Запад гибнет, а России следует от него отгородиться». На этой почве вырастает своеобразный консерватизм, которому, однако, на истощенной отечественной почве почти нечего защищать. Идеологии поощряемых отклонений противопоставляется идеология *уравнительной нормальности*: «я как все, и все как я». Однако сила и глубина все же за неравенством, да и половая нормальность — не замена национальной идее.

Новое мировоззрение только хочет казаться охранительством. На деле оно защищает поверхностные ценности середины, социалистического «всемства» — не ядовитые, но культурной силе чуждые. Снова современно победоносцевское: «Россію надо подморозить, чтобы она не гнила». Россия провозглашается «хранительницей устоев», хотя эти «устои» на самом деле — мораль позднего революционного времени, восходящая в лучшем случае к середине XX века.

Знамя этого мировоззрения в прошлом не столь давнем и наскоро выстроенном на развалинах. Революция, эти развалины создавшая, провозглашается великим наследием предков. Культурная преемственность этому виду консерватизма несвойственна. Его «прошлое» искусственно создано в пустоте, посреди перерезанных и развороченных корней бывшей России. История знает примеры искусственно созданных, вымышленных прошедших, на основе которых создавалась традиция — таково вымышленное прошлое «Израиля», о котором повествует Ветхий Завет. Такое «прошедшее» предлагается теперь и нам. Основной поток новейшей русской истории — торжество Петербурга, дело Петра и наследников, постепенное размывание Империи славянофильством, Великая война, Белое дело и эмиграция — протекает *мимо* этого вымышленного прошедшего, никак его не касаясь.

Собственно говоря, задача создания вымышленного прошлого, по заветам Платона, была решена уже «новым порядком». То, что делается сегодня, вторично. Идеологическая картина мира, созданная «партией» в середине XX века, искусственность которой сознавали почти все свидетели событий, теперь признается «нашим великим прошлым», которое нужно беречь. Идеология возведена в чин Истории.

Однако у этого сомнительного охранительства есть причины: оно решает действительные, не вымышленные исторические задачи. Падение России в 1917-м, последующее перемалывание ее культуры и народа в жерновах «нового порядка», а затем и разрушение этого «нового порядка» — поставили нас перед вопросом о повторном учреждении государства. Речь не о внешних формах. Они в нынешней государственности искусственны, отчасти унаследованы от «нового порядка», отчасти заимствованы у Запада, и при благоприятных обстоятельствах сменятся чем-то более национальным, т. у. укорененным в почве. Речь идет о выборе традиции, т. е. самой почвы.

Я не случайно упомянул выше о том, как Ветхий Завет создавал своему народу прошлое. Это естественная потребность людей, выброшенных из исторической колеи и вынужденных строить на пустом месте. Эту задачу сознают и нынешние правители, решая ее, как умеют и могут. Желая дать новой России

основополагающее прошлое, они находят его в революционных порядках середины XX века.

Поскольку нам дорога историческая Россия, поскольку мы не хотим, чтобы труды, затраченные государством российским от XVIII века до 18 года, оказались напрасны, мы не можем принять такой выбор.

Революционное прошлое не годится для определения нашего места в истории — в силу его изолированности и опустошенности. Этот мертвый отрезок времени не связан с временем мировым и национальным. Революционность есть мера беспочвенности.

Россия пережила «всесожжение» между 1917 и 1929 годами, но мало кто из живущих это замечает, т. к. видимость общественных и культурных связей была впоследствии восстановлена — однако восстановленные связи первобытны, несложны и не укоренены в прошедшем, из всей протяженности русской культурной истории затрагивая последние несколько десятилетий, самое большее половину столетия.

Плодотворность нашего культурного будущего — т. е. того, какое не связано с границами, войском, количеством бомб, тракторов и инженеров — можно обеспечить, только связав его с основанием, заложенным романовской Россией.

6. Преемственность

Это даст нам преемственность, причем настоящую и живую — связь с полнокровным, все еще живым, деятельным в наших крови и уме прошлым. Ведь ничто и никогда не «проходит». Всякое прошлое вечно живо в питающейся корнями собственных и общекультурных воспоминаний личности. Разница между первобытной простотой и культурой — именно в глубине и силе воспоминаний. Память о прошлом — рычаг, увеличивающий силу ума.

Чтобы вернуться в историю — где мыслят, верят в богов, чувствуют и живут, а не «самовыражаются» и «изучают вопросы», — нужно вернуться к основам. Полуобразованность изживается внутренней сосредоточенностью, укорененностью в прошедшем, личным смирением в сочетании с искусством «чтить самого себя», преобладанием понимания над «знанием» (всегда призрачным), мудрости над ученостью. «Культурный» живет не первой жизнью: до него жили другие, язык и мысль которых он усвоил. Эта продленность жизненных впечатлений (благодаря предкам, по крови или по духу — неважно) отличает его от полуобразованного. Культура — своего рода малая религия, т. е. приобщение если не вечному, то долгоживущему, в своем роде сверх-человеческому, выход за личные пределы. Где нет выхода за личные пределы — нет творческого труда, нет духа. Дух начинает себя сознавать только там, где выходит из «здесь и сейчас»...

«Культурный» уже вкусил начаток бессмертия; он не вполне «здесь» и не вполне «сейчас»; и потому, возможно, он более склонен к религиозному пониманию жизни, чем тот, для кого солнце взошло «вчера».

Уточню — предупреждая возможное искажение мысли, — что речь идет о восстановлении не *прошлого*, но *преемственности*. Преемственность с искусственным замкнутым мирком, созданным революцией, невозможна — даже с учетом того, что со временем в этот мирок были вписаны Пушкин и Достоевский. Само «наклонение» ума и души, этим мирком воспитываемые, делают невозможным понимание прежней культуры — только «изучение».

Что такое «преемственность»? *Преемственность* означает, что слова «мы» и «наше» будут употребляться по отношению к России, по меньшей мере, от XVIII века до 18 года, — что возможно только в случае расширения кругозора, приобретения того «продленного жизненного опыта», какой жизнь кровных и духовных предков дает человеку культуры. Не говорю уже о прямом и простом политическом следствии расширения кругозора за пределы выдуманного «новым порядком» мирка — об *осуждении революции*. Нельзя основаться на почве, созданной истребителями всяческой почвы.

Разумеется, речь идет о *духовном переселении*. Так русский человек петровского времени переселялся в Европу, оставаясь в России; так европеец времен христианской проповеди переселялся в вымышленный библейский «Израиль»; так во времена Возрождения переселялись в Афины и Рим. Это не невозможно и чрезвычайно плодотворно.

Перенос ценностей на чуждую им почву — редкое, но плодовитое заимствование. Так некогда были перенесены ценности Ветхого Завета из Палестины в Европу; так — позднее — европейские (римские) ценности были перенесены в романовскую Россию. Такой перенос ценностей — из богатого смыслами прошлого в пустыню искусственного, выхолощенного существования, где царят одна-две «идеи» — необходим и нам. У него есть противники. В «истории» наши современники видят нечто темное, чуждое, ненужное; она не окрыляет человека, воспитанного «новым порядком», а только тяготит; дороже всего ему — подаренное 91-м годом чувство полной безответственности речей (принятое за свободу)...

7. Сила сопротивления

Век не хочет восстановения связей с прошлым и всеми силами ему противодействует. Зачем нам какая-то история, когда у нас есть современность? Мир начался вчера, все новое, все еще только будет... Кроме того, «новый порядок» со временем создал видимость благоустроенного культурного мира, — а что он

плоский, лишен как глубин, так и вершин, и совсем не укоренен в русской истории, это никого не смущает.

В представлении некоторых традиция есть нечто темное, устарелое, ненужное «просвещенному» человеку. Умственный мир такого человека исчерпывается «знаниями». Однако главное благо для ума — именно присоединение к некоторой традиции. Оно дает как сложные формы для выражения сложных мыслей, так и правильно поставленные вопросы. Ум «самодельный», воспитанный революцией и разрывом с культурной почвой — вечно детский; у него нет ни средств выражения, ни глубоких вопросов; его уровень определяется газетами (хорошо еще, если газетами) и непритязательной окружающей средой.

А многие до сих пор уверены, что этот уровень заслуживает гордости. «Революция зажгла свет просвещения!» Но «изба-читальня», «кружки по интересам», среднее образование не служат просвещению *как таковые*. Просвещение *внутри*, а это, так сказать, наружные припарки. Страна всеобщего среднего образования может быть страной всеобщего отсутствия высшей культуры. Зерно этой культуры: умственная дисциплина, способность суждения и способность воздержания от суждений, когда это нужно. «Средне-образованный» как раз всё и всех судит, т. к. никогда не чувствует недостаточности своих познаний. Впрочем, не знаниями вырабатывается способность суждения.

Думая о «просвещении», имеют в виду некоторую, как я уже говорил, сумму знаний, тогда как это, в первую очередь, *сумма воспитания и размышления*. Хорошо еще, если бы речь шла о сумме познаний; чаще всего — особенно в области знаний о человеческом — знания подменяются готовыми оценками, мнениями, избавляющими от необходимости что-то знать и о чем-то думать.

Прежде чем судить о любых вопросах, надо что-то узнать о человеке и его истории. Древний мир, средние века, история Старого мира перед его падением — все это известно современному человеку только по ряду шаблонных оценок, пустых слов о «классах и массах». Как ожидать от него, что он поймет время, в котором живет! В лучшем случае он увидит в современных событиях то, что учебники научили его видеть в событиях прежних: «реакцию и прогресс», «революцию и тирана». О существовании человеческой души, законов внутренней и государственной жизни, о культуре — он никогда не слышал.

С той же косностью образованного класса мы столкнемся, если поставим вопрос о качестве и содержании образования, которое должно быть а) не одинаковым для всех, б) развивающим мыслительную способность хотя бы в части учеников — а не только память на схемы и шаблоны (от химии и до классово поданной истории).

Помимо косности есть и другая сила, препятствующая принятию каких бы то ни было духовных ценностей. В наши дни это *пошлость*. Что такое пошлость? Дюжинность, обыкновенность, но не «простота» никоим образом. «Пошлый» не значит и «низменный», «развратный». (Пошлость вообще не нравственная характеристика.)

Пошлость есть *способность понимать не свыше известного уровня*; иначе говоря, понимание, ограниченное простотой. Может быть «научная» пошлость так же, как и «музыкальная». В самом «научном подходе» уже скрыта возможность пошлости, т. к. научное понимание вещей основано на сбережении усилий, на схватывании мира при помощи ограниченного числа заранее заготовленных объяснений. И — тут мы подходим ближе к предмету — как только мысль прибегает к заранее заготовленному, но из другой области взятому шаблону, она падает жертвой пошлости.

Пошлость есть волшебный ключ, открывающий все двери потому, что ни к одной он не подходит; пошляк всегда доволен собой — нет вещи, смысла которой он не знает; нет более вопросов — одни ответы. Если мы видим науку без вопросов, с одними только частными техническими недоумениями, которые, конечно же, «вот-вот будут разрешены» — перед нами наука на ущербе, видимость познания, на самом же деле — труд технически-воспитанного ума над вопросами, превосходящими технику.

Пошлость ставит человека в наилучшие отношения с самим собой; делает его тем, кто говорит: «уж я-то понимаю...»

Но вернемся к инерции ума, о которой мы говорили выше.

Мне могут сказать: зачем это все? У нас есть повседневные задачи хозяйства, обучения — относительно полезности и необходимости которых есть всеобщее согласие; для чего нам еще какие-то выдуманные, понятные только избранным цели? На это следует отвечать, что народы и личности *живы* только высшими целями, не имеющими прямого отношения к пользе и необходимости. С точки зрения «дела» высшая культура излишня, а то и смешна, а нужны — допустим — «тракторы и инженеры». На этом оселке и оттачивается нынешняя проповедь «нового порядка» во втором, более человечном издании. Но «новый порядок» потому и бесплоден, что кроме «тракторов и инженеров» ничего не мог предложить России *переживающего* собственную эпоху — и так и не предложил до самого своего конца. Все *переживающее* создано при монархии или же в эмиграции.

Можно сказать и то, что проповедь «высших ценностей» ведет к неравенству. На это можно ответить двояко. Во-первых, неравенство существует независимо

от нашей воли, в силу случайностей рождения и воспитания. Люди рождаются разными, то есть неравными. Во-вторых, ценности в любом случае иерархичны, и это также независимо от нашей воли: или «сапоги выше Пушкина», или же Пушкин, все-таки, выше сапог. В наших силах только переопределить высшее и низшее, но не отказаться от них вовсе.

8. Заключение

Возвращение в историю, если оно состоится — не цель, достижение которой сделает ненужными новые усилия. Это, скорее, условие плодотворности будущих усилий — и условие, которое эти будущие усилия сделает возможными, т. к. без «возвращения» мы никогда не поймем, что культура есть *путь наибольшего сопротивления*.

Ведь нация не дается готовой. Она воспитывается вокруг определенных ценностей, причем воспитывается не «лозунгами», не маршировкой, не массовым внушением, но только обращением к личности и светом, который эта личность вносит в жизнь окружающих. Просвещение обращено к личности или нет его. Бытовые привычки, физическое существование на земле — не создают еще нации; они только почва, на которой нация может вырасти. Страна, границы, армия, правительство — еще не нация, не культурное единство. Культурное единство воспитывается формообразующими усилиями просвещения и отдельных личностей, им затронутых. Пушкин, скажем — великий русский просветитель.

Просвещенная личность знает свое место в мире, среди поколений и внешних событий. Определить свое место личность может только при помощи некоторых неподвижных звезд. Этими неподвижными звездами, опорой самоопределения, могут быть как действительные, так и вымышленные образы — личности и нации по большому счету безразлично, на что опереться. [40] Нам, русским, незачем измышлять себе точку опоры — у нас есть историческая Россия, пережившая революцию и осознавшая, продумавшая ее в изгнании. «Внѣземельная Россія» была в своем роде счастливее коренной: революция стала для нее пережитым и осмысленным событием. «Материковая» Россия ни одного усилия не потратила пока что на осмысление революции; все, что от социализма и «нового порядка», принимается до сих пор как данность...

[40] Нация *создает* миф о собственном происхождении или создается вокруг подходящего мифа, говорит Нильс Лемке. «Вероятно, этническая группа может возникнуть и просто из мифа, способного дать людям новое самоотождествление».

Но всё меняется. Только разрушители и циники уверены в том, что опрощение, потеря почвы — навсегда. Они не учитывают естественной, всепобеждающей человеческой тяги к сложности. Никакие «равенство» и «простота» не вечны. Желание особности и развития всё преодолеет.

Что же касается национального самоопределения через «нормальность», или через «справедливость» (т. е. уравнительство), или через военные победы — все это неполноценно, не связывает и не имеет творящей силы. Не определив своего места в истории, в ней нельзя остаться.

XXXII. Истины против мнений

Мы привыкли к слову «истина» и употребляем его легко, не задумываясь об истинном его смысле. «Истины» повсюду: истины математики, физики, истины религиозные и нравственные. Всякой «истине», в нашем понимании, противостоит какая-нибудь ложь; всё, что от нас требуется — это правильный выбор.

Как вошло в нашу умственную жизнь такое понимание «истины» и что нам с ним делать?

1. Вера в истину, являющую себя в истории

Все народы знали предания о золотом веке, который сменился серебряным, и т. д.; но однажды появилось противоположное представление: о том, что история есть ристалище сил добра и зла, напряжение между которыми все растет, пока не достигнет известной точки, за которой — последняя битва и торжество праведных, «совершенное состояние», царство истины. В перелицованном виде и под именем *философии прогресса* эта схема знакома и нам. «Истина, — утверждает эта философия, — являет себя в истории».

Другая отрасль философии прогресса — т. н. «историческое мышление», для которого одна эпоха «естественно и необходимо», «закономерно» вытекает из другой. «Историзму не понимает места произвола в истории. Завтрашний день для него всегда лучше нынешнего, а тем более вчерашнего. Как писал П. Муратов:

«Родившіеся и выросшіе на почвѣ многостолѣтней христіанской культуры, мы рождаемся и выростаемъ „существами историческими“. Мы съ такой легкостью воспринимаемъ идеи всякаго прогресса — научнаго, соціальнаго, моральнаго — потому, что въ основѣ своей происхожденіе идеи прогресса — христіанское. Ходъ времени поэтому для насъ представляется всегда участіемъ нѣкоего высшаго начала въ нашей жизни. Что бы ни говорилъ нашъ личный опытъ, мы не можемъ разстаться съ ощущеніемъ нѣкоей святости всякаго „завтра“».

Историзм, во-первых, верит в то, что прошлое прекратило свое существование потому, что было «дурно». Во-вторых, и это вытекает из первого, во всех исторических переменах он видит «кару», т.е. нравственный суд. В-третьих, всякая новизна видится ему *единственно и неизбежно* следующей из предшествующего ей положения вещей. Он не видит, что из всякого настоящего вытекает одновременно целый ряд возможных «будущих». Из веры в то, что неудача земного

дела есть непременно «кара», следует и безграничный материализм, т. е. уверенность в том, что земное благополучие — мера нравственности, награда за похвальное поведение. Отсюда и материалистичность Ветхого Завета...

2. Единая истина

Историзм и философия прогресса, как все живые и деятельные мировоззрения наших дней — потомки христианства. Греко-римское язычество их не знало. Мысль об исключительной истине была эллину чужда. У него были мнения о богах, но не было одного «единственно-верного» богословия; что же касается природы, разные объяснения спорили друг с другом, и ни одно не притязало на звание «единственного». Древний мир, жадный к познаниям, переходил от одного источника мудрости к другому, пока не набрел на тот, который провозглашал «единую истину», отменяющую все остальные. Его, в своем роде, погубили *Платон и любопытство*. (Платон, надо заметить, понимал трудность своей задачи, видел, что без благочестивого обмана и насилия «единую истину» насадить невозможно. и потому предлагал насаждение ложной памяти о никогда не бывшем прошлом, изгнание поэтов.)

Не зная «единой» исключительной истины, греки не знали и атеизма. (Если не считать понимаемого тогда под этим словом непризнания определенных — чаще новых — божеств.) Атеизм в известном нам мире куется христианским мировоззрением, его притязаниями на знание единственной истины. «Безбожники» в наши дни отрицают не столько мировую тайну, сколько единственно-разрешенное господствующим религиозным мировоззрением ее понимание. Что же до мировой тайны, ее ощущает не столь малое число людей. Даже Чехов ее ощущал — хотя дальше этого чувства и не пошел. «Атеистов» было бы меньше, если бы не известные речи: «проклят всякий, кто думает и верует иначе», потому что человеку легче признать, что он проклят, нежели отказаться от свободы мнений.

Это последнее напоминает о вопрошаниях Достоевского, которого принято считать «христианским мыслителем». Однако в добросовестно христианскую эпоху Достоевский был бы невозможен — или кончил бы в отдаленном монастыре «на покаянии».

Христианство предполагает причастность Единой Истине, следовательно, исключает рассуждения и сомнения. Достоевского можно вообразить только на окраине христианского мира. То же самое можно сказать о К. С. Льюисе. Для XX века Льюис — *слишком христианин*, но любой по-настоящему христианской

эпохе он показался бы *слишком свободомыслящим*. В истинно церковной почве «вопросы» не произрастают. «Христианская философия» есть признак упадка христианского мировоззрения.

3. Истины против мнений

Что такое «мнение»? Частная убежденность, основанная на опыте и не исключающая бытия других убежденностей. Что такое «истина»? *Предмет веры*, иначе говоря, «единственно-достоверное мнение, исключающее все остальные». Где угнездилась «истина», мысли уже нет места. Как только мы начинаем мыслить, вера сменяется той или иной степенью уверенности.

Вопреки общераспространенной уверенности, «наука», т. е. познание мира при помощи техники, не имеет дела с «истинами». В любой области человеческому уму доступны только упомянутые выше «степени уверенности». «Научная истина» есть чаще всего сокращение от «временно удобное допущение, подтверждаемое имеющимся опытом». Но допущения каждодневно становятся «истинами». Все в руках людей, воспитанных христианством, но оставленных не так давно без его руководства, превращается в религию, причем религию определенного духа: ревнивую, исключительную.

Ф. Степун писал об этом:

«В заболевании мира повинна не наука как таковая, которая и до XVII века цвела на Западе, а превышение ею своей компетенции, ее неправомерное желание заменить собою веру. Не наука является, таким образом, опасностью для культуры, а религиозно окрашенное науковерие, превращение науки в некое всеобъемлющее целостное миросозерцание, отменяющее веру».[41]

Преобразование науки в религиозное мировоззрение происходит, конечно, не само по себе. У него две причины: во-первых, глубокое, в поколениях приобретенное религиозное воспитание, данное христианством. Во-вторых — естественная человеческая склонность к превращению бытовых привычек, предпочтений, обыкновений в *предметы веры*.

«Истины» согревают личность, приобщают к чему-то вечному и бесконечному и, что хуже, отраженным образом возвышают личную самооценку. «Неважно, как мы поступаем, важно, во что мы верим». М-р Пексниф у Диккенса — пример личности, питающейся от своих истин, и притом нимало их не разделяющей.

---

[41] Привожу по упрощенной орфографии, как напечатано в альманахе «Воздушные Пути» (1960 г).

Мы не умеем или почти не умеем оценивать себя иначе, чем по принимаемым нами ценностям. Это — нравственная сторона вопроса. Человек науки, ставящий алтарь «истине» там, где должна быть скромная комната для мнений, страдает от этой «истины» по-другому. Непризнанная им самим сторона его личности жаждет религии (и религии христианского толка, т. е. исключительной и ревнивой) — и повинуясь ей, он все превращает в религию. Споры христиан и «научно-верующих» тому подтверждение.

Было и немало попыток освободиться от власти «истин», и все они заканчивались неудачей. Если Дж. Ст. Милль учил: *нет истин, есть только мнения*, то его современный наследник учит об *истинных мнениях*. Освобождения от власти «истин» не случилось. Девиз «терпимости и свободы мнений» и на Западе, откуда он к нам пришел, уже ничего не значит. Союз поклонников Милля и поклонников Маркса оказался недолог. Миллево «право на личное своеобразие» на глазах становится обязанностью — причем своеобразие предписывается массам *одно на всех*, невзирая на лица. Социализм оказался сильнее миллевых мечтаний. Точно так же и сила, называемая в обиходе «наукой», восстала когда-то на церковные истины — только затем, чтобы получить право говорить: «ненаучно» в смысле: «ложно»; «наука» стала синонимом «истины», что, конечно же, совершенно «ненаучно».

В наших отношениях с «истинами» есть нечто нездоровое. Мы и понимаем — хотя бы время от времени, — что «истины» калечат ум и жизнь, и в то же время неспособны без них обходиться. Всякое *мнение* у нас вырождается в «истину», можно сказать и так. Образовательная машина современного общества особенно поощряет тот склад ума, который — для своего спокойствия — нуждается в «истинах». «Если Бога нету, — восклицал тот герой Достоевского, — какой же я, к черту, капитан?» Даже это ничтожное капитанство мы хотим сделать «истиной», тогда как это просто *полезное установление*.

Нам, русским, «истины» особенно дороги... А ведь XX век должен был бы внушить нам страх перед ними, как и перед всякой «всемирностью», «единственностью», «исключительностью». «Всемирное» («универсальное»), «единственно-истинное» и раньше враждовало с частным, местным, личным. Так когда-то христианство («всемирное») подавило свойственные отдельным народам понимания божественного («частное»). Так «власть разума» в XVIII веке несла народам новое всемирное единство, против которого вскоре восстал романтизм (защита частного, местного, личного). Натиск Единого в XX столетии был, казалось, неодолим, однако и он обессилел, чтобы возродиться в новом движении.

Да и современный европо-американец — по природе «универсалист», поклонник единства и исключительности. Ему не нравится, когда другие люди живут, а особенно думают по-своему. Мысль о культуре, основанной на истинах из разных источников; на истинах, принимаемых в разное время и в разной степени — его пугает. Такая культура возможна. Так жил древний мир, на месте которого, ценой *разрушений и упрощений*, была выстроена христианская Европа; и в какой-то степени — достаточной для процветания, несмотря на внутренние противоречия, — такой была Европа Нового времени. XIX век был велик потому, что умел *исходить из разных истин в разное время*, я говорил об этом прежде. Однако его томило болезненное стремление к простоте, единству, одноосновности — из которого вышел впоследствии всеразрушающий русский «новый порядок», европейская наука с ее «последними истинами»... Германский новый порядок, в отличие от российского, вырос на романтической почве. Ничего всемирного в нем не заложено от начала. Однако его исключительно моральный подход к вещам, не терпящим моральных оценок, роднит его с классовым социализмом и общим предком всех «истинных мировоззрений»: Ветхим Заветом. [42]

Где «универсализм», там нетерпимость. Терпимость — удел местного, «языческого»; язычник понимает, что боги для всех одни, но называются по-разному. Универсализм предполагает, что есть *одна* истина и множество заблуждений.

В восприятии идей и мнений как «истин» немалую роль играет и *пыл новообращенного*. Современный человек приходит к приобретаемому в высшей школе умственному багажу от полной почти пустоты: неудивительно, что всё новое для себя он воспринимает религиозно. Этой неуместной религиозности можно было бы избежать. Его, скажем так, знакомят с плодами умственного труда в *готовом виде*, не научив прежде того самому этому труду, не показав, что плоды его в любом случае условны, местны и временны, достойны обоснованной уверенности, но не *веры*.

---

[42] Романтика «крови и расы» свойственна всей Европе в XIX веке. У нас в России это «Вечера на хуторе близ Диканьки», славянофильство, торжество «этнического» над «национальным» в последние царствования... Когда национальный социализм победил, «кровь и раса» были уже пережитком прошедшего века. Он не мог рассчитывать на широкую мировую поддержку — именно потому, что смотрел назад и мечтал о прошлом, духовной родиной имел XIX век. «Идеальное прошлое» не возбуждало умы людей XX столетия так, как «идеальное будущее».

Романтика — внимание к корням и прошлому, к местному и своеобразному; реакция против универсализма XVIII века. Если бы национальные («языческие») религии не были так безжалостно истреблены христианством, романтизм имел бы языческую окраску. Германский социализм был окрашен в романтические цвета, как российский в народнические. Более того: о правлении социалистов в России можно сказать, что оно было направлено против всего ценного с точки зрения романтизма, а именно: корней, традиций, особенностей. Натиск классового социализма был *уравнительный* в своей основе.

Если уж мы не можем освободиться от веры, нам нужно учиться хотя бы верить в разных обстоятельствах в разные истины, как это умели наши предшественники.

Х. Верснел говорит об эллинах:

Древние греки, особенно в области религии или философии жизни, проявляли тревожную способность смотреть на два (или более) разноречивых, если не противоречивых, представления скорее как на взаимодополняющие, нежели взаимоисключающие. Они не только принимали самодовлеющую достоверность каждого представления, но и без сомнения допускали их сосуществование — образ мысли, поразительный для современного ума.

И действительно: современный ум ищет простоты, единства, одного источника всему. Реформацию небезосновательно называют ветхозаветной, упрощающей реакцией внутри христианства. Опрощение, подчинение единой истине — нечто подобное произошло и в XX веке. XIX век умел еще жить с обособленными источниками истин: наука, нравственность, религия, поэтическое чувство пили из разных источников. Век XX захотел простоты, единства, бедности. Однако *именно его* «достижения» таковы, что убивают всякую возможность простого и цельного объяснения мировых событий.

Снова приведу слова Верснела:

«Предположение, будто „правление одного всемогущего божества“ должно быть относительно более прозрачным для разума — по меньшей мере, открыто для обсуждения. Даже самого поверхностного знакомства с недавними спорами в среде христианских богословов по вопросам единобожия, теодицеи и всемогущества достаточно, чтобы понять: дело обстоит несколько сложнее.

<...>

В современном христианском богословии отделение теодицеи — пожалуй, самое угрожаемое во всей корпорации, по существу на грани банкротства, под серьезной угрозой закрытия в самом ближайшем будущем».

Что и неудивительно. Объяснить события, последовавшие за крушением Старого мира, исходя из общепринятого еще недавно взгляда на мир как на разумное предприятие с единым Хозяином — в высшей степени затруднительно. Или надо оставить поиски смысла (как поступила известная часть умов), или искать его в другом направлении.

Что же делать разуму? Какое мировоззрение возможно для тех, кто не отчаялся в поиске смысла, и в то же время не находит этого смысла там, где его искали предшественники?

4. Разум и тайна

Мировоззрения можно условно разделить на «открытые» и «закрытые». Открытое мировоззрение предполагает, что видимый и познаваемый мир — только малая часть «мира вообще»; оно признаёт мировую тайну и спокойно говорит о своей неспособности познать мир до конца; ему свойственно смирение. Закрытое мировоззрение уверено, что мир, в познавательном отношении, невелик и несложен; что всё уже познано, остались только отдельные частности. Из этого основополагающего разделения следует второстепенное. Открытое мировоззрение признаёт существование богов или Бога; закрытое — видит в мире разум и и освещаемый его светом *склад мертвых вещей*. Отношение к религии, способность иметь религию вытекают из отношения к познавательной способности разума — и веры или неверия в неисчерпаемость мира.

Материализм воюет не с богами, а с чувством тайны. Любое объяснение, пусть и очевидно глупое, лучше загадки бытия. Якобы «научная» страсть к упрощениям все побеждает и все разрушает, т. к. на всякое явление можно найти предельно простое и, соответственно, предельно ложное, однако «научное» объяснение. «Научность» в этом случае есть успокаивающее душу исследователя отсутствие тайны, вернее, достигнутая ценой натяжек и домыслов видимость ее отсутствия. Механистическое мировоззрение не «решает» вопроса о человеке, но только загоняет в подполье те части человеческого существа, которые нельзя выразить плоско-рационально, т. е. через несложные схемы. Мышление *должно* стремиться к ясности, но питается всё же из темных корней, которые нельзя обрубить или лишить питания безнаказанно.

В свою очередь, любая религия начинается с признания того, что мир не исчерпывается тем, что принято называть «природой»; что «природа» только вправлена в нечто *большее*. Имя этому большему — тайна. Возможно — небезразличная к человеку. Он может к ней воззвать и получить от нее ответ.

Наши дни потому столь мелки в умственном отношении, что они увязли в «природе» и неспособны сделать ни шагу дальше. Они не понимают, что природа не *целое*, а только та его часть, которая поддается восприятию и исследованию. Безграничное доверие к естествознанию, дающему будто бы последнюю истину о мире — есть, коротко говоря, безграничное доверие к нашим чувствам и приемам исследования. Однако давно известно, что сила науки в том, что она задает

природе только те вопросы, на которые та может ответить. Всё остальное — в области тайны.

5. Поиск малых смыслов

Что остается человеку, не желающему принять «закрытого» мировоззрения? Я скажу: поиск малых смыслов.

Мы не только не в силах, но и не должны отказываться от частных истин. Однако надо уметь, ввиду многослойности мира и жизни, руководствоваться в разных случаях разными истинами. Ни механическое понимание человека, ни религиозное понимание механизмов — беру крайние случаи — не принесут нам пользы. Сомнение и опыт во всех обстоятельствах нам полезны; кто сомневается *только в религии* — тот будет *верующим только в науке*.

Мир многослоен и на разных его уровнях действуют разные силы. Мы же, утратив христианскую всеобъясняющую веру, мечтаем о новом, таком же универсальном мировоззрении, и находим его то в марксизме, то в учении Фрейда. Однако приходится допустить, что у нас никогда не будет никакого «ключа к тайнам мироздания», этот ключ — плод христианского или, позднее, научного (науковерующего) воображения. Стало быть, не будет у нас и «единой истины».

Желая понять жизнь с помощью очередной «системы», мы напрасно потеряем время. Настало время малых истин — мнений, удостоверенных опытом. Поиск малых истин во времена всеобщей потери смыслов — вот доступное нам духовное приключение, и мне оно кажется достаточно захватывающим. Это «выращивание смыслов» — трудное, почти невозможное в наши дни занятие ввиду общей веры в бессмысленность мира и жизни.

Философия — прежде всего учение о смыслах вещей. Философ говорит о смыслах, а не изучает чужие писания; изучающий занят *историей философии*, которую не следует смешивать с предметом, который она изучает. Изучающих стало в наши дни слишком много. Кому-то следует вернуться к первоосновам: последовательно расчищать завалы мысли, оставленные XIX и XX веками; как сознательную ложь «нового порядка», так и оставшиеся нерешенными вопросы, поставленные еще в Старом мире. Нужен внутренний труд, чтобы отказаться от «общепринятых истин» и прийти к новым ценностям через поиски малых смыслов, но внутренний труд лишает покоя и не обещает шумного успеха, а потому нежелателен.

Азам этого творческого труда, т. е. того труда, который не направлен на внешние цели, не ищет одобрения, совершается умом и душой для ума же и души в первую очередь, т. е. труда сугубо внутреннего — нам снова нужно учиться.

XXXIII. Какая Россия историческая?

1

Сейчас много говорят о том, что нужно воссоединить современность с прошедшим, устранить культурный разрыв между нами и нашими недавними предками, и говорят справедливо. Однако о *каком* прошедшем речь? Ведь «прошедших», т. е. линий наследования, много; наше будущее определяется тем, какую линию мы изберем. Оказывается — речь идет о воссоединении с незаслуженно забытым «новым порядком» (1918 — 1991).

Нам говорят: «„Новый порядок“ есть та же историческая Россия, только идеология да флаг были другие». Так ли это? Можем ли мы принять такую «историческую Россию», что нам это принесет, и нет ли другого, более разумного понимания исторической почвы, на которую мы могли бы вернуться?

2

Само по себе возвращение к исторической почве — необходимо. Все революции кончаются реставрациями. Тем более важна реставрация в России, с нашей «прерывной» культурой, страдающей — как принято думать — от постоянных скачков и разрывов. Задача восстановления связи с исторической почвой у нас не бессмысленна, более того, это *очередная задача* современности.

Впрочем, «прерывность» русской истории не следует преувеличивать. Все европейские народы пережили свой первый разрыв с исторической почвой (чтобы не сказать: погром частного, национального, во имя универсального) во время крещения. Вместе с ними и мы. Часть из них пережила затем и второй разрыв: с универсальным во имя частного — во время Реформации. Так и Россия пережила, не считая революции, два разрыва с прежней культурной почвой: «христианский» и *петровский*.

По глубине и степени, если так можно сказать, выжженности почвы петровский разрыв не идет ни в какое сравнение с разрывами крещения и революции. Но если крещение, ценой убийства ростков национальной религии и культуры, вводило нас в круг хоть и дальних, но родственников Рима и Греции, то революция из всякого культурного окружения вывела. В умственном отношении — Россия присоединилась не к новому миру, но к мировоззрению узкой секты XIX столетия.

Конечно, и тут есть намек на сходство с христианским переворотом. Крещение тоже присоединило нас к секте. Но эта секта распространялась на крыльях языческой эллино-римской культуры, откуда и сила, и благотворность (в известных отношениях) ее влияния — несмотря на то, что в безразличное к творчеству

христианство плоды древней культуры вошли в законсервированном виде, помимо его воли.

(Что же касается дальнейшего развития новой религии на русской почве, напомню, что разные христианские исповедания суть разные пути обхода библейских истин, т. е. способа жить так, чтобы эти истины не разрушили жизнь. Жить «по истине» — ради этого создаются секты; когда секта становится достаточно многочисленна и сильна, чтобы называться Церковью, ее занимает другой вопрос: как не дать «единой истине» разрушить жизни верующих. Ведь «жить» по Библии, в особенности согласно Евангелию, никак нельзя. Великие церкви — каждая — нашли свой путь в обход Библии. Нашла его и русская ветвь христианства.)

Различие между Россией и Европой не в «прерывности» как таковой, а в глубине выжигаемого во времена потрясений культурного слоя. Не имея прямого эллино-римского наследства, мы не имели и большой, надежной, вглубь уходящей культурной почвы. «Изо всѣхъ странъ Европы, — говорит Александр Салтыков, — только одна Россія *не входила въ составъ Римскаго міра*». Продолжу цитату: «Россія, возводя зданіе своей исторіи, всегда находилась, продолжаетъ находиться и, можетъ быть, останется вѣчно — въ исключительно невыгодномъ, роковомъ положеніи: ей приходится строить безъ фундамента».

Несмотря на отсутствие древнего, тысячелетнего фундамента, который могла бы заложить прямая преемственность от Рима и Греции, у нас есть фундамент благоприобретенный: отчасти византийское, но больше петровское, романовское, наследство, от которого и отказалась в 1918 году революция. Этот петровский фундамент был опорой классической русской культуре и государственности *от 18 века и до 18 года*. На нем строила русская культура вплоть до своего золотого вечера в эмиграции, до конца 1930-х. От него идут все культурные нити, которые можно и стоит подхватить, чтобы передать их дальше...

Россия романовско-европейская и есть наша *историческая Россия*, наследство которой ждет наследников. Однако мы слышим, что нет, историческая Россия есть «новый порядок» 1918 — 1991 годов, и именно ее наследство нам следует принять. Что это за наследство и в чем его «историчность»?

3

В первую очередь, это *идеология* «нового порядка», т. е. ряд искажающих истину утверждений, помогающих покоренному народу примириться с действительностью. Эти фикции, в основном морального характера, всем известны:

«власть народа», «справедливость», «равенство», «изобилие», «миролюбие (правительства)». Не последнее место занимала внушаемая народу уверенность в том, что его государство — самое лучшее; жизнь его — самая завидная...

Эти выдумки «нового порядка» принимаются ныне с полным доверием и воспроизводятся уже не как выдумки, но как воспоминания о действительно бывшем. Однако это *искусственная память* о том, чего не было. Основная черта эпохи, которая сейчас нам предлагается в качестве исторической почвы — ее выдуманность. Под видом «почвы» нам предлагают мираж, благостные очертания страны, которой никогда не было. Тирания, презрение к личности, уничтожение людей и культурных ценностей за завесой этого миража не видны. Задача облегчается тем, что важнейшим искусством нового порядка было искусство пропаганды, а важнейшим ведомством — ведомство заготовления миражей.

Так «новый порядок» становится ныне источником мнений и обычаев, которые надо сохранять. Защищается эгалитарная культура, все не-эгалитарное отталкивается. Нынешнее противостояние Западу, насколько оно осознанно — борьба уравнительной культуры с предельным рассвобождением личного своеобразия (увы, только в некоторых, предписанных левой модой, областях; о настоящем неповторимом индивидуализме миллевского толка речи нет).

Ведь основной идеей революции было «равенство» — откровенно противокультурная мысль. Из равенства никакой культуры не произрастает. «Культура — удѣлъ богатыхъ и сильныхъ», говорил А. Маклаков, то есть всегда плод неравенства. Из тяги к опрощению, от которой страдала прежняя русская интеллигенция, могло вырасти только *уравнительное просвещение*, т.е. то просвещение, из которого изъята личность. А тяга эта старая и как проявлялась до «нового порядка», так проявляется и после его крушения. Если о прежней нашей интеллигенции Салтыков говорил:

«Склонность къ первичному, къ плоскому, къ незамысловатому — вотъ наши природные вкусы. Боязнь вершинъ. Боязнь углубленій. Боязнь всего многограннаго, сложнаго. Склонность къ упрощенію и къ опрощенію. Склонность ко всему рудиментарному, механическому, отрывочному. Нелюбовь — къ органическому, къ цѣлостному. Нелюбовь къ силлогизму, какая-то боязнь его и безпомощность передъ нимъ — это отмѣтилъ еще Чаадаевъ.

И поразительное отсутствіе любопытства, то отсутствіе любопытства и лѣнь мысли, которыя такъ обезкураживали Пушкина...»

— то нынешняя сама себя характеризует следующими заявлениями:

«Очевидно, что задачи <...> педагогов определены очень чётко. И определены они господствующей капиталистической идеологией <...>. Если учитель изначально будет ставить себе цель научить только “сильных”, тех, кто способен самостоятельно усвоить “начитанный материал” урока <...>, то это приведёт к созданию и всё большему закреплению социо-культурного неравенства».

Как видите, «неравенство», равнение на сильных — это «корень всякого зла», которого надо избегать любой ценой. Что уравнять людей можно только в слабости, бездарности, бедности — нынешним поборникам равенства так же неизвестно, как и прежним. Чем больше равенства, тем ниже уровень личности. Уравнивая сильных и слабых, вы умножаете слабость.

4

Иначе говоря, нам предлагают *реставрацию революции*.

На восстановлении ее «предания» — социалистического в своей основе, хотя можно найти в нем и христианские черты, — и строится нынешний *ложный консерватизм*. Почему я говорю «ложный»?

Спросим себя, в чем состоит, чем отличается *обычно* консерватизм? Консерватизм есть стремление к сохранению прежних форм и связанных с ними содержаний, причем форм сложных, необщедоступных; своим носителем это стремление имеет аристократию (не обязательно наследственную), т. е. некоторый узкий круг, разделяющий старые ценности. «Консервируются» именно богатство и сложность; всякая революция выступает на стороне упрощения и обеднения.

Лех Валенса некогда упростил эту мысль до предела, сказав, что консерватор есть тот, кто признаёт «Бога и частную собственность». Говоря шире, за консерватизмом всегда стоят личность (где религия, там сознающая себя личность) и труд поколений ее предков (где собственность, там уважение к труду предков). Наш лжеконсерватизм к религии относится, как к средству, а предков не имеет — кроме поколения разрушителей.

Консерватизм сохраняет то, что не дается даром, но требует некоторых усилий; ценности, не присущие человеку от рождения, но приобретаемые трудом... Потому он никогда не бывает консерватизмом большинства. Или бывает?

Вспомним противостоявший Петру раскол, движение многолюдное и в известных местностях почти сплошное (Соловки, с которыми воевала регулярная армия); вспомним не менее многолюдное «народничество» с его обожествлением бедности и простоты. Консерватизм может охранять бедное и простое, опыт это

доказывает. Однако такое «охранительство» бережет не сложные, дорогостоящие во всех отношениях ценности, отлитые в определенных формах, но одни *формы без ценностей*.

О нашем правительственном «консерватизме» можно сказать то же самое. Он предан формам (читай: *видимостям*), выкованным «новым порядком»; если он и подозревает, что за этими формами ничего не было — или было нечто прямо противоположное тому, что произносилось вслух, — эти видимости ему дороги по ряду причин.

5

Точка зрения, для которой «историческая Россия» есть Россия «нового порядка» («только флаг да идеология были другие»), в некоторых отношениях психологически выгодна. Она позволяет оставаться на почве всех фикций, которые оправдывали существование этого порядка. Оставаясь на почве фикций, мы придаем этому порядку видимость законности, добра, культурной ценности (выбирайте нужное слово). Придавая этому порядку видимость законности, мы освобождаем себя от необходимости *переоценки ценностей*, а главное — от неизбежного разочарования, стыда, раскаяния. Объявить «новый порядок» исторической Россией — значит сохранить себе «великое прошлое» несмотря ни на что. Прошлое же — могучее средство управления настоящим. Этот опыт нам хорошо известен по временам позднего «нового порядка», когда единственным оправданием настоящего положения вещей (не блестящего) были прежние военные победы, т. е. разгром *национального* социализма социализмом *классовым*. В тени этих военных побед ужасы классового социализма, явленные в родной для него стране, как будто бледнели.

Эти выгоды новый консерватим обещает не только правительствующему классу. Большинство, для которого и от имени которого пишутся на стенах слова: «Мы первые, мы гордимся», — видит в новой идеологии те же достоинства. Над прошлым больше не надо трудиться: не надо переоценивать, не надо сомневаться, не надо жалеть. Как я уже сказал, это консерватизм не ценностей, не труда, а *лени*, уклонения от деятельности. Потому он и доступен большинству, потому он и не нуждается в аристократии.

И ведь нельзя сказать, что Романовы сознательно желали опереться в новой России на личное своеобразие. Желали они европейства — от которого личная сложность, личное своеобразие оказалось неотделимы. А вот линия русской культуры, идущая от 1917 года, есть на самом деле линия искусственного упрощения — не свыше уровня партийного ума и партийной цензуры, наследующая народничеству прежних времен.

Для наследников «нового порядка» ни европейство, ни своеобразие непривлекательны. Наш консерватизм большинства — не белый, а *белесый*. Он опирается на выдуманную общность в простоте и бедности. Выдуманную потому, что «единство в бедности» исторически у нас недавнее; стоит копнуть поглубже, и среди предков нынешних поклонников равенства найдутся офицеры, торговцы, фабриканты, священники...

Революция была торжеством беспочвенности. Наш нынешний консерватизм — ссылка на *беспочвенность в качестве почвы*, поиск предания в эпохе, не имевшей никаких преданий и сознательно их истреблявшей, так, чтобы и будущему не на что было опереться. Нужна ли нам *такая* «историческая почва»?

Восстановление связей с *действительно* исторической Россией, в том смысле, о котором сказано выше, требует усилий. В него, как условие, входит переоценка событий XX века и нашего участия в этих событиях. Причем переоценка затронет неизбежно не только последнее столетие, но и предшествующую нашу историю, вплоть до крещения. Ничего из нашего прошлого мы не сможем принять без переоценки.

6

Переоценка затронет, как я уже сказал, и старые, давно исключенные из всякого обсуждения предметы — в том числе и религию. Придется подумать и о следующем:

Два «старых мира» мерцают на нашем горизонте: мир «до 1918» и «до Р. Х.» Оба оболганы и разрушены; оба питательны для личности; оба невозвратимы в подробностях, но только в качестве оснований для будущего.

Не мысля России вне Европы, мы помним и о том, что *европейство старше христианства*.

Победило христианство не своим богословием и не моралью. Победила в нем скрытая идея *личной причастности* божеству. Этот «тайный орфизм» западный человек, уставший от своих прекрасных, но отдаленных богов, утомленный своими желающими божеских почестей правителями, распознал и власти его не смог противиться.

Все наши идеальные образы, связанные с жизнью в миру — греко-латинского, языческого происхождения. Идеал воина, государственного мужа, *vir magnus* — языческий. Нельзя его представить с христианскими чертами, потому что христианство есть не-делание, устранение.

Христианству нечего сказать о жизни. Жизнь для язычников, язычество для жизни. Христианство есть одна сплошная, разросшаяся мысль о посмертном — как будто в противовес Ветхому Завету, в котором ничего или почти ничего нет

о посмертии, все материально, все только *по эту сторону*. В определенном смысле христианство есть ответ на *ветхозаветный материализм*.

Социализм в последние двести лет занимает место наследника, если не могильщика христианства. Через него проходит разложение любого в прошлом христианского мировоззрения. Для Старого мира социализм стал тем же, чем ненавидимое им христианство было для мира древнего. Отвергнуть, разрушить, благочестиво очернить, чтобы не возродилось — все те же приемы...

Переоценивая социализм, освобождаясь от старых на его счет иллюзий, мы должны задуматься и о породившей его религии. Мы теперь видим то, чего не видели прежде: Ветхий Завет есть книга утопическая, хотя эта утопия и отнесена в вымышленное прошлое. Больше того: Ветхий Завет, вероятно, первое известное широко задуманное идеологическое сочинение, причем неизмеримо более влиятельное, чем все социалистические его перепевы; более влиятельное, чем платоново «Государство».

В дальнейшей судьбе библейской религии также будут созвучия с судьбой социализма. Разрыв христианства с Ветхим Заветом обусловлен преломлением света на границе двух разных сред. Ветхозаветная по своим корням евангельская проповедь излагалась поверхностно европеизованными авторами для столь же поверхностно затронутых европейской («языческой») культурой читателей. Новый Завет рождался в среде полупросвещения, т. е. *частичной затронутости* западной *культурой*. Ведь кто такие «эллины», известные нам из формулы «эллины и иудеи»? Дети от смешанных браков, люди на границе двух культурных миров. В такой же питательной среде (только не между народами — между классами) через две тысячи лет разовьется социализм.

Христианство прежде всего заразило собой Старый мир. Не будь этого, не было бы и его стремительного распространения среди молодых народов Европы. Ведь покоряла народы не столько христианская проповедь, сколько высшая греко-римская (язычниками созданная) культура. Отблеск этой культуры освещает и наши сумерки.

Библия написана в мире, где «бози мнози» состязались за душу человеческую. Монотеизм есть умственное построение, не плод непосредственного опыта. Как только ум уступает религиозному опыту, многобожие поднимает голову — что происходит и под покровом «монотеистических» религий. Боги суть образы невидимого, необходимые нам потому, что мы мыслим образами и не умеем иначе. Они — точки фокуса нашего взгляда, нечто *между нами и божественным*. На божественной первооснове мира взгляд остановиться не может: у нее нет имени, ее нельзя вообразить, к ней нельзя или трудно обратиться. Тот, кто говорит,

что «богов создают люди», недоговаривает. Немного технически, но верно будет сказать, что боги суть *точки фокуса* для наших молитв. По одну их сторону — мы, по другую — Божественное. От того, как мы представляем себе богов, зависит не только содержание наших прошений, но и *ответ* на них, потому что получаем мы только то, о чем осмеливаемся просить...

Все перечисленное — никоим образом не вопросы нынешнего дня; и даже, возможно, не завтрашнего... Но поскольку развитие мысли не может остановиться, особенно во времена, когда преемственность в воспитании ума и чувства потеряна и обо всех вещах мыслящему уму приходится составлять новое, свое собственное, незаемное представление — рано или поздно придется о них задуматься.

7

Мы же вернемся к целям и средствам консерватизма в России, оговорив, что религиозная составляющая (в смысле восстановления определенных представлений и форм духовной жизни) в него едва ли сможет войти.

Итак, правительство предлагает нам такое восстановление связи с культурной почвой, которое сводится к приятию «нового порядка», а следовательно, и революции, в качестве источника всех наших ценностей и представлений. (Зачему в скобках, что в это революционное единство загадочным образом попадает и христианская Церковь.) Такое принятие не требует никаких усилий ума и чувства, напротив — ведет к внутреннему покою. Если же признать, что революция и ее плоды не могут быть основой для будущей культуры, придется признать и то, что единственная плодотворная в культурном смысле «историческая Россия» есть Россия романовская.

Здесь начинается трудность. Романовскую Россию нельзя «восстановить» в том смысле, в каком можно, скажем, «восстановить СССР». Более того, «восстанавливать» ее ни в каком случае не следует, т. к. она была (о чем мы говорили в предыдущих очерках) сложным единством, созданным долгим предшествующим развитием. Единственное, для нас возможное — поставить эту Россию в такое положение относительно нынешней, какое при Петре Великом занимала Западная Европа, и сообразно изменить наше направление взгляда. С Россией при Петре случилось *духовное переселение*, приятие иных предков и иного прошлого, чем те, которые у нас были, или во всяком случае, само-усыновление этим предкам и этому прошлому. Такое духовное переселение возможно и для нас.

Переход на новую культурную почву — это и пересадка духовного опыта (т. е. фактически приобретение новых предков, пусть и не по крови), и пересадка определенных выправки, поведения. Не только думать, но и поступать в тех же

условиях иначе учится человек, выбирающий новую духовную родину. Все европейцы пережили это во времена крещения, а русские — еще и в дни Петра. (Еще причина, по которой наш «новый порядок» не следует сравнивать с петровским делом. В 1918 — 1991 речь шла не о новом крещении, не об усвоении нового образа поступков и мыслей, а о планомерном упрощении исторического облика страны и человека до уровня, дозволенного правительством).

Такому духовному переселению поможет наследие Белой эмиграции. Учиться непосредственно у прежней России затруднительно. Россия до 1917 была слишком благополучно славянофильской наверху и социалистической — в образованной массе. Очищение от славянофильства и социализма было дано только Белой эмиграции, вернее сказать — определенной ее части (которую очень условно можно назвать партией «Возрожденія», по имени объединявшей людей этого умоначертания газеты). Пусть это очищение не охватило всех русских умов за границей, оно все же было — и плоды его оставлены нам в наследство.

Надо заметить, что эмиграцией оправдывается Белое сопротивление «новому порядку» — несмотря даже на его военное поражение. Если бы не было Врангеля и Эвакуации 1920 года — нам была бы доступна преемственность только с эпохой до 1917-го, т. е., как сказано выше, или с социализмом, или со славянофильством. Белое дело сохранило для нас культурную линию европейской, романовской России, очищенную от крайностей как «передового европейства» (социализм), так и романтической реакции на это европейство (славянщина). К сожалению, никто или почти никто не приложил усилий для переноса этого наследства в Россию тогда, когда была еще возможность — в 1990-е годы; а сейчас какое бы то ни было наследство, кроме советского, у нас не в цене.

Возможно ли это духовное переселение? Если мы еще способны к культуре, т. е. к пути восприятия и усвоения — возможно. Культурный человек — человек учащийся. Мы делаем чужие духовные содержания своими или узнаем себя в них; иначе нет развития. Варварство, самодовольство, пошлость — состояние того, кто «непромокаем» для чужого духовного опыта. Что же касается социализма в качестве будто бы «исторической почвы», напомню исчерпывающую характеристику Ф. Степуна:

«Органическая жизнь России была большевиками разрушена с небывалой в истории окончательностью. Все издавна сложившиеся и четко очерченные типы русских людей были мгновенно изъяты из обращения». [43]

[43] «Воздушные Пути», №1, 1960.

Не может быть преемственности с порядком, который всякую преемственность целенаправленно истреблял. Социализм — не историческая Россия, а ее могильщик. Память борцов с историей да изгладится.

2017–2022